

БОЛЬШИЕ  КНИГИ

Марсель  
Пруст



В СТОРОНУ  
СВАННА

« И Н О С Т Р А Н К А »

**Марсель Пруст**  
**В сторону Сванна**  
Серия «В поисках утраченного  
времени (М. Пруст)», книга 1  
Серия «Иностранная  
литература. Большие книги»

*Текст предоставлен издательством*  
*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=58985006](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=58985006)*  
*В сторону Сванна: Иностранка; Москва; 2013*  
*ISBN 978-5-389-18720-7*

**Аннотация**

Первый том самого знаменитого французского романа XX века вышел в свет более ста лет назад – в ноябре 1913 года. Роман назывался «В сторону Сванна», и его автор Марсель Пруст тогда еще не подозревал, что его детище разрастется в цикл «В поисках утраченного времени», над которым писатель будет работать до последних часов своей жизни. Читателю предстоит оценить блистательный перевод Елены Баевской, который опровергает печально устоявшееся мнение о том, что Пруст – почтенный, интеллектуальный, но скучный автор.

# Содержание

От переводчика	5
Комбре[2]	20
I	20
II	97
Конец ознакомительного фрагмента.	201

# **Марсель Пруст**

## **В сторону Сванна**

© Е. В. Баевская, перевод, 2009, 2013

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2013 Издательство Иностранка®

# От переводчика

*И даль свободного романа  
Я сквозь магический кристалл  
Еще неясно различал...*

*А. С. Пушкин*

В какой момент груды листов, исписанных малоразборчивым почерком, испещренных исправлениями, вычеркиваниями, бесконечными стрелочками и вставками на полях, превращается в книгу, в нечто стройное и единое? В момент первой публикации, вероятно: после нее, сколько бы изменений ни вносили впоследствии в текст, жизнь книги уже началась. В ноябре предвоенного 1913 года еще никто – даже автор – не знал, что, собственно, будет дальше, но роман Марселя Пруста уже явился на свет, и расти ему предстояло ровно девять лет и четыре дня, до последних часов жизни писателя.

Есть что-то обнадеживающее для каждого молодого и честолюбивого романиста в истории о том, как пробивался к читателям самый знаменитый французский роман XX века, «В поисках потерянного времени», и как драматически складывалась история публикации его первого тома, «В сторону Сванна». Этот том вышел в свет ровно сто лет тому назад.

Роман вызревал медленно, постепенно, первые его наброски возникли еще в 1908 году, и уже тогда обозначились такие важные для него темы, как драма укладывания спать и две «стороны», две стези, поочередно влекущие главного героя: сторона Вильбона (потом это будет Германт) и сторона Мезеглиза (в окончательном варианте – Сванна). Но это еще не тот роман, который мы знаем! В следующем году Пруст отложит наброски в сторону: у него возникнет замысел критического эссе «Против Сент-Бёва» – но кое-что из недописанного романа писатель включит в это эссе, и в рассуждения о литературе, вопреки ожиданиям и поверх барьеров, ворвутся будущие персонажи «Поисков» – г-н и г-жа де Германт, маркиза де Вильпаризи и сам повествователь, с которым г-ну де Германту интересно говорить о литературе, и даже молодая маркиза де Кардайек, урожденная Форшвиль, в которой мы узнаём Жильберту, дочку Сванна из еще не написанных «Поисков». Потом вдруг на одной странице с вполне реальными, вписанными в литературный процесс эпохи Морисом Метерлинком и Франсисом Жаммом появится выдуманный Прустом писатель Берготт, а за ним и несравненная служанка Франсуаза... Так критическое эссе на глазах превратится в роман, от которого автор уже больше не оторвется до самой смерти.

Первый том сложился к 1912 году, был перепечатан на машинке, нужно было искать издателя. Всем этим Пруст занимается с азартом и энергией: присматривает за машинист-

кой, чтобы не перепутала порядок тетрадей, попутно дорабатывает и уточняет написанное, например спрашивает у друга, живущего в Италии: какие именно цветы продают весной во Флоренции на Понте-Веккьо? И есть ли фрески в церкви Санта-Мария дель Фьоре? Рукопись оказывается слишком длинная – издатели предлагают поделить ее на два тома, и Пруст недоволен: «Это противоречит духу книги». Он хочет как можно меньше дробить роман на отдельные части и томики, потому что с самого начала он настаивает на единстве своего произведения: «Поиски» – не серия романов, а один большой роман, который нужно прочесть от начала и до конца, чтобы как следует понять.

Сперва рукопись в семьсот с лишним страниц предложена издательству «Фаскель», публиковавшему Гонкуров, Золя, Эдмона Ростана. Пруста одинаково привлекают и «Фаскель», и недавно созданный, но уже завоевавший блестящую репутацию в литературных кругах «Нувель ревю франсез» («НРФ»), к тому же и тут, и там у него есть хорошие знакомые, и казалось бы, можно надеяться, что рукопись будет благосклонно рассмотрена. Но книга слишком непохожа на все, что писалось и публиковалось до сих пор, и издательский мир встречает ее с недоверием. В «Фаскель» она попадает на отзыв к поэту Жаку Мадлену, сотруднику издательства, который дает такое заключение: «На протяжении семи сотен страниц этой рукописи... мы не имеем ни малейшего, ни малейшего представления о том, что происхо-

дит. Зачем это все написано? К чему? – Невозможно понять! Невозможно сказать, что это, о чем это». И в конце декабря Эжен Фаскель отклоняет рукопись. Пруст надеется на журнал и издательство «НРФ», тем более что в журнале уже печатались отрывки, но получает отказ. Жан Шлюмберже, сотрудник «НРФ», потом оправдывался тем, что в издательстве никто не прочел рукопись, а отвергли ее за чрезмерно большой объем и за то, что у автора была репутация сноба. Странное оправдание! Пруст через друзей обращается в третье издательство – «Оллендорф», публиковавшее таких авторов, как Коlette и Ромен Роллан, причем предлагает взять на себя расходы по изданию. И вот ответ Эмбле, директора «Оллендорфа»: «Я, возможно, полный тупица, но для меня непостижимо, за какой надобностью этот господин на тридцати страницах расписывает, как он ворочается в постели, пока не заснет». Наконец Пруст обратился к Бернару Грассе, который начал свою издательскую деятельность всего за пять лет до того, но успел уже опубликовать несколько интересных современных книг, в том числе Жироду и Мориака. Грассе принял рукопись, хотя не слишком верил в успех; при посылке экземпляра уже отпечатанной книги он пишет другу: «Читать это невозможно, мы опубликовали это на счет автора» – и в самом деле, Пруст полностью оплатил издание. Любопытно, что в продолжении романа, «Содоме и Гоморре», Пруст опишет Бернара Грассе – тот окажется в гостях у г-жи Вердюрен: «Один великий парижский издатель



заглянул с визитом и думал, что его будут удерживать, но очень быстро ретировался, понимая, что недостаточно шикарен для „тесной компании“. Был он рослый, крепкий, волосы черные как смоль, крайне трудолюбивый и в суждениях несколько безапелляционный. Чем-то он напоминал эбеновый нож для разрезания страниц». (Впрочем, кое-кто из французских комментаторов думает, что это может быть и портрет Эжена Фаскеля.)

Так или иначе, год 1913-й оказался в жизни Пруста годом великих свершений: он нашел издателя для книги, он пять раз держал корректуру, причем при каждой правке основательно перерабатывал весь том, даже ввел в него нового персонажа, Вентейля; с его появлением роман наполнился рассуждениями о музыке и описаниями музыки – поэтому Пруст в поисках точной передачи впечатления усердно ходит в концерты, слушает Бетховена, и Франка, и Форе, и опять Бетховена. Одновременно необходимо готовить публику к выходу романа в свет. Грассе, гений рекламы, знает, как обставить это событие, и инструктирует автора: нужны три вещи – газетные интервью, публичное чтение отрывков и их публикация в газетах и журналах. Всем этим Пруст страстно занимается, особенно предварительными публикациями: в газете «Фигаро» напечатан «Боярышник белый и розовый» из «Комбре», потом «Луч солнца на балконе» из третьей части, «Имен мест», и далее «Деревенская церковь», опять из «Комбре». Эти отрывки Пруст слегка редактирует,

чтобы они читались отдельно от контекста романа, и, в сущности, придает им вид «стихотворений в прозе» – так он сам их называет.

Но вот 14 ноября 1913 года «В сторону Сванна» выходит из печати, и уже через три недели Грассе уведомляет автора, что книгу придется допечатывать, потому что первый тираж – 1750 экземпляров вместо предусмотренных сначала 1250 – почти разошелся. Но радоваться рано: тут же весьма авторитетный критик Поль Суде опубликовал в солидной газете «Ле тан» разгромную рецензию. Главная несправедливость заключается в том, что Суде обрушивается на опечатки, которых – несмотря на все корректуры – оказалось безумно много в этом издании, и гневно уличает писателя то в незнании французского языка, то в невежестве. Пруст болезненно воспринял рецензию Поля Суде. «В ней я увидел свою книгу, как в зеркале, подстрекающем к самоубийству», – признавался он.

А в это время Габриэль Астрюк, руководитель театра на Елисейских Полях, переживает тяжелый душевный кризис из-за финансового краха своего театра. Заинтересовавшись рецензией в «Ле тан», он покупает «В сторону Сванна», начинает читать, забывает о своих горестях и влюбляется в книгу. Однако опечаток в ней и в самом деле невероятно много. А Астрюк в свое время зарабатывал на жизнь корректорской работой, и вот он хватается за карандаш и принимается править опечатки. Затем он великодушно уступит автору вы-

правленный экземпляр, благодаря чему во втором издании опечаток окажется неизмеримо меньше. А для Пруста восхищение одного из первых читателей послужит существенной моральной поддержкой. Постепенно обозначился явный успех книги, и этот успех оценило издательство «НРФ», с 1919 года называвшееся по имени одного из своих основателей, Гастона Галлимара; сотрудники «НРФ» – писатель Андре Жид и критик Жак Ривьер – обратились к Прусту и убедили его издавать у них все следующие тома.

Скажем несколько слов об авторе «Поисков». Марсель Пруст родился 10 июля 1871 года. На его жизнь наложила отпечаток тяжелая болезнь, астма, которой он страдал с детства. Он мечтал быть писателем еще в школьные годы, в юности испробовал свои силы во всевозможных литературных жанрах, сочинял стихи, рассказы, светскую хронику, рецензии, статьи, пародии. В университете изучал философию. К тому моменту, когда Пруст начал работать над романом, он был уже, кроме того, опытным и профессиональным переводчиком, подготовившим к печати и опубликовавшим две книги английского философа и культуролога Джона Рёскина. Он отказался от перевода, чтобы делать «переводы из самого себя» (именно так в 1906 году он определяет оригинальное литературное творчество в письме к своей приятельнице Мэри Нордлингер, англичанке, помогавшей ему в работе над Рёскином). К замыслу своей главной книги Пруст пришел, когда ему было уже за тридцать. В начале работы

долго колебался – писать ему роман или философский трактат. Романый замысел окончательно сложился, когда было уже написано немало страниц. Трактат – да, трактат исследует законы жизни, но писателю этого было мало. Не трактат, а именно роман, по Прусту, может служить оптическим инструментом, который позволит читателю применить эти законы к себе, заглянуть в себя. Вот почему в последнем томе герой, собираясь написать книгу, говорит о своих будущих читателях: «Они будут читать не меня... а самих себя, а моя книга послужит им чем-то вроде того увеличительного стекла, которое протягивал покупателям хозяин магазина оптики в Комбре: благодаря этой книге я помогу им читать в себе. И я не стану ждать от них ни хвалы, ни хулы, пускай просто скажут, получилось ли у меня, совпадает ли то, что я написал, с тем, что они прочли у себя в душе...» Прустовская проза – это два слившихся вместе потока: дидактический, объясняющий жизнь пускай и с привлечением опыта XX века, но в сущности так же, как ее объясняли еще французские моралисты в XVII веке, и поэтический, достигающий той же цели средствами поэзии, сближениями «далековатых понятий», ритмами и метафорами, скрытыми и явными цитатами, аллюзиями и ассоциациями.

Пруст был, пожалуй, последним великим писателем, влюбленным в своих персонажей. Не только рассказчика или бабушку, он любит даже тетю Леони и Франсуазу, даже

несносную двоюродную бабушку и глупых Селину и Флору.

Но главная его любовь, на наш взгляд, – это любовь к литературе: «Поиски» прежде всего – роман о литературном призвании, о становлении писателя, и не случайно «Комбре» кончается первым литературным опытом героя, стихотворением в прозе о трех колокольнях; судьба этого небольшого «текста в тексте» будет потом исподволь прослеживаться на протяжении почти всего романа. От этого небольшого отрывка герой в конце седьмого тома придет к созданию огромной книги, такой же длинной, как любимые Прустом сказки «Тысячи и одной ночи» или мемуары герцога де Сен-Симона:

«Это будет книга, длинная, как „Тысяча и одна ночь“, но только совсем другая. Когда любишь какое-нибудь литературное произведение, хочется, наверное, написать что-то на него похожее, но нужно пожертвовать сиюминутной любовью, заботиться не о своем вкусе, а об истине, которая не интересуется нашими пристрастиями и запрещает нам о них думать. И только если стремишься к истине, иногда удается набрести на то, что раньше отверг, и написать забытые тобой „Арабские сказки“ или „Мемуары Сен-Симона“ твоей эпохи. Но достанет ли мне времени? Не слишком ли поздно?»

Марселю Прусту времени хватило – или почти хватило: роман был в целом дописан, хотя, по мнению автора, еще нуждался в доработке. За две недели до смерти Пруст передал Жаку Ривьеру машинопись пятого тома. В ночь с 17-го

на 18-е ноября работа еще продолжалась: Пруст до двух часов правил корректуру, диктовал своей сиделке и секретарше Селесте Альбаре исправления и добавления. Он умер от пневмонии на следующий день, 18 ноября 1922 года, в возрасте пятидесяти одного года.

Роман Марселя Пруста «В поисках потерянного времени» – книга одновременно и стройная, и хаотичная: в этом он похож на средневековый готический собор, совмещающий в себе симметрию и асимметрию, гармонию и дисгармонию. Поначалу в замысле Пруста преобладала симметрия, но оказалось, что «Поиски» – это прежде всего изображение того, как размышляет человек, а наше мышление не может с начала до конца подчиняться стройному плану, оно прихотливо и не любит жестких рамок<sup>1</sup>.

Пруст в последнем томе «Поисков» сформулирует это так: «...Чтобы каждый том воспринимался как часть единого целого, писатель... должен готовить свою книгу тщательно, постоянно перестраивая части, как войска во время наступления, терпеть ее как усталость, повиноваться ей, как правилу, строить, как церковь, соблюдать, как диету, побеждать, как препятствие, завоевывать, как дружбу... И в таких больших книгах есть части, которые вы успели только наметить и, скорее всего, никогда их не кончите, именно из-

---

<sup>1</sup> «Анализ у Пруста – это не авторское вмешательство, как у Толстого, не фокус преломления объективного мира, как в „Былом и думах“ Герцена, – это размышление, безостановочное, всепоглощающее, замедленное, которое и стало предметом изображения» (Л. Гинзбург. «О психологической прозе»).

за обширности плана, замысленного архитектором. Увы, как много огромных соборов остались незавершенными!» Вот и роман Пруста был хоть и дописан, но не завершен: автор работал над ним до последнего дня и работал бы еще. Как гигантский собор, роман вбирал в себя разные формы, эпохи, веяния; его порталы, фасады, галереи, башенки вырастали в разное время и отражали разные влияния, но все строительство неизменно подчинялось замыслу архитектора.

Напомним, как выстроился этот роман-собор в окончательном виде:

Книга 1: В сторону Сванна.

Книга 2: Под сенью девушек в цвету.

Книга 3: Сторона Германтов.

Книга 4: Содом и Гоморра.

Книга 5: Пленница.

Книга 6: Исчезновение Альбертины.

Книга 7: Обретенное время.

Первая книга, «В сторону Сванна», состояла из трех частей. В первой части, которая называется «Комбре», Марсель, рассказчик, немолодой уже человек, в часы бессонницы вспоминает свое детство в милом провинциальном городке, навсегда оставшемся для него колыбелью души, потерянным раем. Во второй части действие происходит лет на десять-двенадцать раньше, чем в «Комбре», Марсель тогда еще не родился, рассказывает он с чужих слов. Называется эта вторая часть «Любовь Сванна», в ней читатель

встречается с некоторыми персонажами, уже знакомыми ему по началу романа, – одних он видел мельком, других рассматривал вместе с Марселем, его детским, напряженным, пристальным взглядом. Наконец, третья часть, «Имена мест: имя» возвращает нас к истории повествователя. Его жизнь и жизнь Сванна окончательно переплелись: он уже подросток, он влюблен в дочь Сванна Жильберту, бывает у них в доме, приобщается к духовным интересам отца и дочери, испытывает первое любовное разочарование: Жильберта его не любит.

Место действия «Любви Сванна» и «Имен мест» – Париж. Современники Пруста читали изображенный им Париж как открытую книгу, городской текст; мы постарались снабдить примечаниями наиболее важные топонимы, потому что все они нагружены точным социологическим смыслом, который был понятен первым читателям, да, кстати, многие парижские маршруты доступны и сегодня любителю прогулок по литературным местам (например, можно сесть в автобус и проехать до Люксембургского дворца по следам Сванна и г-жи Котар). Вместе с тем в географии романа немало условностей: мы знаем, что Сванн жил на Орлеанской набережной в стариннейшей части Парижа – на острове Сен-Луи (за что его порицали родственницы Марселя – место это казалось им куда менее шикарным, чем новенький бульвар Османн или веселая авеню д’Опера), Одетта жила на улице Лаперуза, Вердюрены (как выяснится в дальнейшем) на набережной



Конти – но где жили Германты и прочие принцы, герцогини и маркизы? Пруст об этом молчит. Знаменитое Сен-Жерменское предместье, приют аристократии, не имеет точных адресов в «Поисках», оно раскинулось где-то между реальным Парижем и романами Бальзака, создателя «мифа Сен-Жерменского предместья». Его невидимые границы не очерчены и в реальном Париже: они охватывают приблизительно шестой и седьмой округа на левом берегу и простираются до улицы Фобур Сент-Оноре на правом.

Кроме городского пространства, герои романа существуют в пространстве культурном, которое характеризует их еще точнее, чем места, где они живут или бывают. Шарль Сванн, рафинированный интеллект, искусствовед, увлекается всем тем, что волновало современных ему эстетов: его интересуют выставка импрессионистов, декадентская пьеса, старые мастера, переосмысленные на рубеже века, – Джотто, Боттичелли и Вермеер; вкус Вердюренов дает сбои, хотя они изо всех сил стараются быть на уровне новейших веяний – и подчас им это удается: не случайно г-жа Вердюрен – поклонница Вагнера; завсегдатаи их салона, при всем снобизме, подчас наивно невежественны; аристократы в романе культурны, но несколько консервативны; Одетта некультурна и претенциозна. Марсель, главный герой, к концу тома уже подросток: он зачитывается Берготтом, бредит то Бальбеком (этот город выдуман Прустом, но вобрал в себя черты реальных приморских городов в Нормандии), то Ве-

нецией и Флоренцией, хранящими шедевры Фра Анджелико, Джорджоне и Тициана.

После 1913 года Пруст продолжает работать над романом, но в течение пяти военных лет ничего не публикует. Именно из-за этой паузы роман стал разрастаться и оказался намного длиннее, чем задумывался вначале. В 1918 году в общих чертах рукопись завершена (хотя до последнего дня Пруст будет вносить в нее изменения, часто очень значительные). В этом же году выходит второй том, который приносит автору признание и Гонкуровскую премию. В 1919 году появляются переиздания «Девушек в цвету» и «Сванна». В 1920-м – первая часть «Стороны Германта». В 1921-м – вторая часть «Германта», первая часть «Содома и Гоморры». В 1922 году весной выйдет в свет вторая часть «Содома и Гоморры», а в ноябре, за несколько дней до смерти Пруста, окончание «Содома и Гоморры» и «Пленница». Последние два тома будут опубликованы посмертно, «Исчезновение Альбертины» – в 1925 году, а «Обретенное время» в 1927-м.

История, рассказанная в «Любви Сванна», во многом предвещает судьбу рассказчика, служит ему предостережением, а читателю предувещанием и легким пунктиром намечает дальнейшие пути, по которым будет развиваться роман. Любовь-страдание откроется юному Марселю уже в «Именах мест». Дальше Марселю предстоит изучить любовь-ревность, но, в отличие от Сванна, призванием он не пожертвует: Сванн не написал книгу о Вермеере, – Марсель

В конце концов станет писателем и создаст свой роман.

*Елена Баевская*

# Комбре<sup>2</sup>

## I

Долгое время я ложился спать рано. Иной раз, стоило мне потушить свечу, глаза мои смыкались так быстро, что я не успевал подумать: «Засыпаю». А спустя полчаса меня будила мысль о том, что надо сделать над собой усилие и уснуть; я хотел отложить том, который, казалось, все еще у меня в руках, и задуть огонек; во сне я непрестанно размышлял над прочитанным, но размышления эти принимали несколько неожиданный оборот; мне чудилось, что я сам – то, о чем говорится в книге: церковь, квартет, соперничество Франциска I с Карлом V<sup>3</sup>. Это ощущение удерживалось еще несколь-

---

<sup>2</sup> Город Комбре наделен чертами реального городка Илье, расположенного на Луаре, в 25 километрах от Шартра; после 1971 г. переименован в Илье-Комбре (добавление «Комбре» было сделано в честь Пруста к столетию со дня его рождения). Это родной город отца писателя. В возрасте от шести до девяти лет Марсель приезжал сюда на пасхальные и летние каникулы к тетке Элизабет Амю, сестре отца. Позже эти поездки прекратились из-за приступов астмы, и Илье превратился для ребенка в потерянный рай. В последний раз Марсель побывал в Илье в пятнадцать лет, после смерти тетки. Кроме того, Комбре напоминает парижский пригород Отейль, где жила семья матери писателя и где родился он сам.

<sup>3</sup> ...соперничество Франциска I с Карлом V. – По мнению французских комментаторов, герой читает книгу Франсуа Минье (François Mignet) «Соперниче-

ко секунд после пробуждения; оно не задевало сознания, но завлакивало глаза пеленой, мешая понять, что свеча уже погасла. Потом оно постепенно блекло – так после переселения душ блекнет память о прошлых жизнях – сюжет книги отступал в сторону, от меня зависело, относить его к себе или нет; тут же я вновь обретал зрение и немало удивлялся, обнаружив вокруг темноту, сладостную и отдохновенную для глаз, но, быть может, еще больше для ума, которому она представлялась беспричинной, непостижимой, воистину темной. Я гадал, какой теперь может быть час; я слышал посвист поездов, он издалёка, словно птичье пенье в лесу, напоминал о расстоянии и рассказывал мне о протяженности пустынных полей, по которым путешественник спешит к ближайшей станции; и тропа под ногами навсегда запомнится ему возбуждением от новых мест, непривычных поступков, недавней беседы и прощания под чужой лампой, которые еще преследуют его в ночном безмолвии, и грядущей радостью возвращения.

Я нежно прижимался щеками к прекрасным щекам подушки, тугим и свежим, словно щеки нашего детства. Я чиркал спичкой, смотрел на часы. Скоро полночь. Время, когда разбуженный приступом больной<sup>4</sup>, которому пришлось

---

ство Франциска I и Карла V» (1875), в которой идет речь о более чем тридцатилетней борьбе французского короля Франциска I (пр. 1515–1547) с императором Священной Римской империи Карлом V (пр. 1519–1556).

<sup>4</sup> ...разбуженный приступом больной... – Здесь впервые в романе упоминается о болезни. Когда Прусту было девять лет, он заболел астмой, которая преследо-

уехать и заночевать в незнакомой гостинице, радуется, приметив под дверью полоску света. Какое счастье, уже утро! С минуты на минуту встанут слуги, он позвонит, ему помогут. Надежда, что скоро станет легче, придает ему стойкости. Вот и шаги слышны, они приближаются, потом удаляются. И полоска света под дверью исчезла. Полночь; только что погасили газ; ушел последний слуга, и всю ночь придется терпеть, и нет спасения.

Я засыпал опять и подчас просыпался после этого уже только на миг, успевал услышать вечное потрескивание деревянных панелей, открыть глаза и впиться в калейдоскоп темноты, в мгновенном проблеске сознания порадоваться сну, в который были погружены мебель, спальня, все, чего я был лишь малой частицей и с чем скоро опять сроднюсь в общем бесчувствии. Или я во сне без усилий возвращался в навсегда ушедшие ранние годы, вновь обретал детские страхи, например что двоюродный дедушка будет меня дергать за кудряшки, – этот страх развеялся в тот ознаменовавший для меня новую эру день, когда их состригли. Во сне

---

вала его до конца. «Поиски» – не автобиография, но автор привнес в историю своего героя много черт собственной жизни, в том числе и эту: ссылки на болезнь рассыпаны по всей книге. Болезнью объясняются и перемены в распорядке дня героя, о которых говорится в первой фразе романа: в детстве и молодости он ложится спать рано, как и положено больному, и проводит долгие тягостные часы в борьбе с очередным приступом; позже он будет, так же как и сам Пруст, ложиться спать под утро, а ночью бодрствовать. После 1907 г., когда Пруст приступил к работе над романом, он жил на бульваре Османн в комнате с завешенными окнами, днем спал, а по ночам писал.

я забывал об этом событии; память о нем возвращалась сразу же, как только мне удавалось проснуться и ускользнуть от рук двоюродного дедушки, но на всякий случай, прежде чем вернуться в мир сновидений, я зарывался всей головой в подушку.

Иногда, подобно тому как из ребра Адама родилась Ева, из неловкого положения моего бедра, пока я спал, рождалась женщина. Она возникала из внезапного наслаждения, а я воображал, что это она мне его дарила. Я чувствовал ее тепло, на самом деле исходившее от моего собственного тела, хотел к ней прижаться и просыпался. Остальное человечество казалось мне страшно далеким по сравнению с этой женщиной, которую я покинул всего мгновение назад; моя щека еще хранила тепло ее поцелуя, тело поламывало от тяжести ее стана. Подчас она напоминала чертами лица женщину, которую я знал в жизни, и тогда я душой и телом устремлялся к одной цели – увидеть ее снова; так люди пускаются в странствия, чтобы своими глазами увидеть желанный город, и воображают, будто можно в реальной жизни насладиться очарованием мечты. Постепенно память о ней рассеивалась, я забывал порождение моего сна.

Спящий человек окружает себя чередой часов, строем годов и миров. Просыпаясь, он инстинктивно сверяется с ними и вмиг просчитывает, какую точку земли он сейчас занимает, сколько времени протекло, пока он спал; но их ряды могут смешаться, прерваться. Пускай сон одолеет его под утро,

после бессонницы, над книгой, совсем не в той позе, в какой он обычно засыпает, и вот уже ему довольно поднять руку, чтобы остановить или обратить вспять солнце, и в первую минуту после пробуждения он уже не будет знать, который час, и решит, что лег совсем недавно. А если его сморит в положении еще более неуместном и непривычном, например в кресле, после обеда, тогда сошедшие с орбит миры охватит полное смятение и волшебное кресло отправит его на всей скорости путешествовать по времени и пространству; и в тот миг, когда он откроет глаза, ему почудится, что он уснул несколько месяцев тому назад в другой стране. И даже если я засыпал в своей кровати, но достаточно крепко, так чтобы сознание до конца уgomонилось, то из него ускользал план места, где я погрузился в сон; и, просыпаясь посреди ночи, я не знал, где я, и в первый момент даже не понимал, кто я такой; только чувство, что я существую, охватывало меня во всей изначальной простоте – такое чувство, быть может, трепещет в животном; я был оголен, как пещерный человек; и вот тогда воспоминание – еще не о месте, где я нахожусь, а лишь о каких-то местах, где когда-то жил или мог бывать, – приходило ко мне как спасение свыше и вытаскивало меня из небытия, из которого мне было не выбраться самому; я за мгновение перемахивал через века цивилизации, и мне представляли зыбкие образы керосиновых ламп, потом сорочек с отложными воротничками – эти видения понемногу восстанавливали исходные черты моего соб-



ственного «я».

Быть может, неподвижность вещей вокруг нас навязана им нашей уверенностью, что это они, и ничто другое, – навязана неподвижностью нашей мысли о них. В любом случае, когда я так просыпался и мой разум безуспешно бился, пытаюсь понять, где я, вокруг меня в темноте все кружилось: вещи, страны, годы. Тело мое, настолько оцепеневшее, что не в силах было шевельнуться, пыталось по форме своей усталости определить положение рук и ног и из него заключить, куда идет стена, как расставлена мебель, воссоздать и назвать дом, где оно обретается. Память моего тела – память ребер, коленей, плеч – разворачивала перед ним вереницу комнат, в которых ему доводилось спать, а вокруг, в потемках, вихрем клубились невидимые стены, перемещаясь в согласии с формой воображаемой комнаты. И не успевала моя мысль, поколебавшись на пороге времен и форм, сопоставить все обстоятельства и опознать жилище, как тело уже припоминало особенности кровати в каждом доме, и где дверь, и на какую сторону выходят окна, и есть коридор или нет, и с какой мыслью я там засыпал, а потом просыпался. Мой занемевший бок, пытаюсь угадать, в каком направлении он развернут, воображал, например, что вытянулся вдоль стены в большой кровати под балдахином, и я себе тут же говорил: «Вот как, я все-таки заснул, хотя мама не пришла сказать мне спокойной ночи» – я был за городом у бабушки, умер-

шего уже немало лет назад<sup>5</sup>, и мое тело, бок, на котором я лежал, верные стражи прошлого, которое на самом-то деле полагалось надежно хранить сознанию, напоминали мне о пламени ночника из богемского стекла в форме вазы, свисавшего с потолка на цепочках, о камине сиенского мрамора в моей спальне в Комбре, у бабушки с дедушкой, в то далекое время, которое секунду назад я принимал за настоящее, хотя

---

<sup>5</sup> Чувствуем необходимость сориентировать читателей в просторном мире романа и помочь разобраться с многочисленными родственниками рассказчика. Еще Ахматова возмущалась: «...у Пруста все герои опутаны тетками, дядями, папами, мамами, родственниками кухарки» (*Чуковская Л.* Записки об Анне Ахматовой. Запись от 26 апреля 1955 г.). Иные персонажи наделены именами, иные остаются безымянными, указана только степень их родства с рассказчиком. Итак, кратко охарактеризуем семью героя романа, рассказчика, или, пользуясь выражением самого Пруста, того господина, который в романе говорит «я»: у него есть мама и папа, а еще есть дедушка, г-н Амеде (это его имя, а не фамилия), и сестра дедушки, которую рассказчик называет двоюродной бабушкой: именно этой двоюродной бабушке принадлежит дом в Комбре. Ее дочь – тетя Леони, которая живет в Комбре постоянно и приходится рассказчику двоюродной теткой, однако он называет ее тетей. Покойного мужа тети Леони звали дядя Октав (Октав – имя, а не фамилия), и служанка называет ее «госпожа Октав», по имени мужа. Кроме дедушки и двоюродной бабушки, у мальчика есть родная бабушка, жена г-на Амеде и мать его мамы, мы знаем ее имя, Батильда, и знаем, что у бабушки есть две незамужние сестры, Селина и Флора. Бабушкины сестры, строго говоря, тоже приходится рассказчику двоюродными бабушками, но он их так никогда не называет, видимо, во избежание окончательной путаницы. Они в романе называются бабушкиными сестрами, а иногда просто тетками. Еще упоминается дядя Адольф, брат дедушки, – он, значит, приходится рассказчику двоюродным дедушкой, однако называется именно дядей. Правда, на первой странице дважды упоминается двоюродный дедушка, не названный по имени; не беремся судить со всей уверенностью, имеется ли в виду дядя Адольф или какой-нибудь другой родственник. Нам кажется, что это все тот же дядя Адольф.

точного понятия о нем у меня не было, но очень скоро, когда я совсем проснусь, оно представится мне ясней.

Потом оживала память о новом положении тела: стена тянулась в другую сторону; теперь я был у себя в спальне, в загородном доме г-жи де Сен-Лу; господи, уже часов десять, не меньше, и ужин, наверное, кончился! Прежде чем переодеться во фрак, я – по-видимому, после прогулки, которую совершал ежедневно вместе с г-жой де Сен-Лу, – прилег, как всегда, отдохнуть и заспался. Немало лет миновало со времен Комбре; а ведь это там, когда мы возвращались совсем поздно, я видел красные отблески заката на стеклах моего окна. В Тансонвиле у г-жи де Сен-Лу живут по-другому, и радости у меня другие: я выхожу из дому только ночью и блуждаю при лунном свете по тем дорогам, где когда-то играл на солнце; и комната, в которой я потом усну вместо того, чтобы одеваться к ужину, видна мне издали, пока мы идем к дому, пронизанная лучами лампы, единственный маяк в ночи.

Это вихреобразное и смутное узнавание длилось обычно какие-то секунды; мимолетное мое недоумение, где же я, терялось в догадках, часто отличая одну из них от другой не больше, чем мы, видя бегущую лошадь, осознаём каждое ее новое положение, которое показывает нам кинетоскоп<sup>6</sup>. Но

---

<sup>6</sup> *Кинетоскоп* – характерный элемент культуры рубежа веков, был изобретен в 1889 г. Т. Эдисоном и У. Диксоном; это предшественник кинематографа: последовательный быстрый просмотр фотографий, сделанных через очень короткие промежутки времени, создавал иллюзию движения.

передо мной успевали промелькнуть одна за другой комнаты, в которых я когда-нибудь ночевал, и в конце концов я, надолго уходя в мечту, сменявшую сон, вспоминал их все: зимние комнаты, где, пока спишь, прячешь голову в гнездо, свитое из самых разношерстных вещей: угла подушки, краешка одеяла, конца шали, ребра кровати и номера «Деба роз»<sup>7</sup>, которые в конце концов слепляешь вместе, приминая их до бесконечности, по примеру птиц; где в холодное время года наслаждаешься тем, что чувствуешь себя укрытым от внешнего мира (как морская ласточка-крачка, у которой гнездо глубоко в ямке, в теплой почве), и, если в камине на всю ночь разведен огонь, спишь в огромной шубе теплого дымного воздуха, пронизанного отблесками вспыхивающих головешек, словно в неосязаемом алькове, в теплой пещере, вырытой прямо в комнате, в жаркой зоне, колышущейся внутри границы тепла, овеваемой дуновениями, освежающими нам лицо, которые тянутся из углов, из областей, близких к окну или далеких от очага и успевших остыть; летние комнаты, где так наслаждаешься слиянием с теплой ночью, где лунный свет, накатывая на приоткрытые ставни, бросает свою колдовскую лестницу через всю комнату до самого изножья кровати, где спишь почти как под открытым небом, словно синица, покачивающаяся под ветерком на самом кон-

---

<sup>7</sup> «Деба роз» («Le Journal des Debats») – ежедневная газета (1789–1944). «Les Debats Roses» – вечернее приложение к этой газете, печатавшееся на розовой бумаге; начало выходить в 1893 г.

це солнечного луча; иногда спальня в стиле Людовика XVI, такая веселая, что даже в первый вечер чувствуешь себя в ней не совсем уже несчастным, и колонки, легко держа балдахин, так грациозно расступились, являя и храня место, где прячется постель; то, наоборот, маленькая спальня с высочайшим потолком, вырытая в форме пирамиды в толще двух этажей и частью обшитая красным деревом, где с первой секунды душу мою отравлял незнакомый запах лимонной травы, угнетали враждебность фиолетовых занавесок и дерзкое равнодушие стенных часов, что стрекотали так громко, словно меня здесь не было; где четырехугольное стоячее зеркало, странное и безжалостное, загораживая наискось угол комнаты, нагло врезалось в нежный простор моего обычного поля зрения, приучая к непредвиденному расположению вещей; где мысль моя, часами пытаюсь раствориться, растянуться ввышину, принять в точности ту же форму, что и комната, и наполнить собой доверху ее гигантскую воронку, промаялась немало суровых ночей, когда я лежал вытянувшись в постели, и глаза мои устремлялись ввысь, слух тревожно напрягался, ноздри раздувались, сердце стучало, пока привычка не переменит цвет занавесок, не заставит часы смолкнуть, не призовет к жалости уклончивое жестокое зеркало, не заглушит или даже не изгонит совсем запах лимонной травы и, главное, не уменьшит очевидную высоту потолка. Привычка! Ловкая, но такая неторопливая распорядительница, поначалу она неделями обрекает наш разум на муки времен-

ного существования, но он и тому рад, потому что, не будь привычки и доведись ему обходиться собственными силами, он был бы бессилён предоставить нам квартиру, пригодную для жилья.

Разумеется, теперь я уже чувствовал себя совершенно проснувшимся, тело уже завершало последний оборот и добрый ангел уверенности успевал остановить вокруг меня движение, уложить меня под одеяло в моей спальне и приблизительно расположить по местам в темноте комод, письменный стол, камин, окно на улицу и две двери. Но пускай я знал, что я не в одном из тех домов, на которые мимолетно, но ясно указала или по крайней мере намекнула мне спросонок моя неосведомленность, памяти моей уже был дан толчок; обычно я не стремился тут же заснуть снова; большую часть ночи я проводил, припоминая, как мы жили когда-то в Комбре у моей двоюродной бабушки, в Бальбеке, в Париже, в Донсьере, в Венеции<sup>8</sup> и мало ли где еще, восстанавливая в памяти

---

<sup>8</sup> ...в Бальбеке, в Париже, в Донсьере, в Венеции... – Это перечисление главных мест, где развернется действие романа, не совсем соответствует предшествующему перечислению спален. Ни парижская спальня, ни венецианская не совпадают с комнатами, запечатленными в «вихреобразном и смутном узнавании», и наоборот, Тансонвиль в перечисление не попал. Кроме спальни в Комбре, можно узнать приветливую спальню в Донсьере (см. «Сторону Германта») и тоскливую – в Бальбеке («Под сенью девушек в цвету»), почти все описательные элементы которой (часы, лиловые шторы, зеркало, высокий потолок, запах лимонной травы) здесь присутствуют. Перечисление мест происходит по порядку их появления в романе и в жизни рассказчика, за исключением Парижа, занимающего центральное место.

места, людей, которых я там знал, и что я за ними замечал, и что мне о них рассказывали.

В Комбре каждый день, под вечер, задолго до часа, когда надо было идти в постель и лежать без сна вдали от мамы и бабушки, спальня превращалась в предмет моих неотступных и горестных забот. Чтобы развлечь меня в те вечера, когда видно было, что я совсем приуныл, придумали подарить мне волшебный фонарь, который еще до ужина нахлобучивали на мою лампу; и по примеру первых архитекторов и витражистов готической эпохи он подменял непрозрачность стен неуловимой радужной игрой, сверхъестественными разноцветными видениями, в которых, словно на мимолетных дрожащих витражах, запечатлевались легенды. Но мне только становилось еще печальнее, потому что при новом освещении спальня делалась непривычной, а ведь привычка почти примиряла меня с ней (если не считать попытки укладыванием в постель). Теперь я уже не узнавал комнаты, и мне было в ней тревожно, как в гостиничном номере или в комнате какого-нибудь шале<sup>9</sup>, если попал туда впервые прямо с поезда.

Подпрыгивая на спине своего скакуна, полный ужасных замыслов, Голо выезжал из треугольного леска, темневшего бархатистой зеленью на склоне холма, и вскачь неся к зам-

---

<sup>9</sup> *Шале* – изначально – деревянный домик на альпийских лугах; позже так стали называть любой загородный дом в стиле швейцарских шале, а также маленький деревянный домик на морском побережье на севере Франции, выходящий прямо на пляж; именно о таком шале вспоминает герой романа.

ку бедной Женевьевы Брабантской<sup>10</sup>. Замок был срезан кри-  
вой линией, которая была просто краем одного из овальных  
стеклышек, – их вставляли в рамку, которая скользила в па-  
зах фонаря. От замка остался только кусок, а перед замком –  
песчаная равнина, где грезил Женевьева, подпоясанная го-  
лубым кушачком. Замок и равнина были желтые, и мне не  
надо было глядеть на них, чтобы узнать, какого они цвета,  
потому что раньше стеклышек в рамке мне уже сказал об  
этом со всей непреложностью золотисто-багряный звон име-  
ни Брабант. Голо на миг останавливался и печально слушал  
небылицы, которые читала вслух моя двоюродная бабушка;  
судя по всему, он их прекрасно понимал, потому что с по-

---

<sup>10</sup> *Женевьева Брабантская* – героиня популярной средневековой легенды, впервые записанной Джакопо да Варацце (Иаковом из Ворагина) в сборнике «Золотая легенда», составленном в XIII в.: отправляясь на войну, Зигфрид, граф Тревский, доверил свою жену Женевьеву, дочь герцога Брабантского, попечению сенешаля Голо, который пытался ее обольстить. Потерпев неудачу, Голо оклеветал Женевьеву перед мужем, и тот велел ее казнить. Люди, которым было поручено исполнение приговора, пожалели ее и оставили в лесу, где она прожила несколько лет, питаясь плодами и кореньями. Ее младенца вскормила своим молоком прирученная ею лань. Однажды на охоте Зигфрид погнался за этой ланью, и она привела его к жене. Женевьева доказала свою невинность и изобличила Голо, но вскоре умерла. Этот сюжет много раз служил во Франции основой для художественных произведений: существуют трагедия Серизье «Женевьева Брабантская, или Признанная невинность» (1669), пьеса Дора того же названия (1670); Эрик Сати написал комическую оперу «Женевьева Брабантская» (1900) на либретто Лорда Шемино (псевдоним Контема Латура); популярна была оперетта «Женевьева Брабантская» Жака Оффенбаха на либретто Кремье, впервые поставленная в 1859 г., а в 1875 г. переделанная в пятиактную оперу и поставленная в парижском театре «Гете».



корностью, не исключавшей некоторого величия, принимал позы согласно указаниям текста; затем он удалялся, все так же подпрыгивая на спине своего скакуна. И ничто не могло остановить этой медленной скачки. Если фонарь переставляли, мне видно было, как конь Голо продолжает скачку по занавескам на окне, то раздуваясь вместе с тканью, то проваливаясь в ее складки. Тело самого Голо, той же сверхъестественной природы, что и тело его коня, одолевало любую вещественную преграду, любую вещь, возникавшую у него на пути, превращая ее в часть собственного скелета и вбирая в себя, например, ручку двери; к ней сразу же приспособлялись и непобедимо воспаряли над ней его алый плащ или бледное лицо, всегда такое благородное и печальное, на котором, однако, не отражалось ни следа метаморфоз, происходивших с его костяком.

Конечно, я находил очарование в этих блистательных изображениях, которые словно пришли прямо из меровингских времен<sup>11</sup> и рассеивали вокруг меня такие древние отблески истории. И все-таки не передать, как худо мне было от этого вторжения тайны и красоты в комнату, которую мне насилу удалось наполнить своим «я» настолько, чтобы обращать на нее не больше внимания, чем на это самое «я». Как

---

<sup>11</sup> ...из меровингских времен... – Время правления франкской королевской династии Меровингов относится к V–VIII вв. Их история живо интересовала Пруста: в юности его любимым чтением были «Рассказы из времен Меровингов» Огюстена Тьерри (1795–1856) (рус. пер. – СПб.: Изд-во «Иванов и Лещинский», 1994).

только проходил наркоз привычки, я начинал думать, чувствовать, а это так печально. Та самая ручка на двери моей комнаты, для меня отличавшаяся от всех остальных дверных ручек в мире тем, что, казалось, поворачивалась сама собой, не нуждаясь в моем вмешательстве, настолько машинально я привык с нею обращаться, теперь служила астральным телом<sup>12</sup> для Голо. И как только звонили к обеду, я поспешно неся в столовую, где распространяла ежевечерний свет огромная висячая лампа, не подозревавшая о Голо и Синей Бороде<sup>13</sup>, но знавшая моих родителей и говядину в кастрюле, и бросался в объятия мамы, которая теперь из-за страданий Женевиевы Брабантской была мне еще дороже, между тем как злодеяния Голо заставляли меня еще строже вопрошать свою собственную совесть. После обеда, увы, меня вскорости отсылали от мамы – она оставалась поболтать в саду, если было тепло, или в малой гостиной, где все собирались в ненастную погоду. Все, кроме бабушки: она считала, что «за городом обидно сидеть взаперти», и, когда шел особенно сильный дождь, без конца спорила с отцом из-за того, что он вместо прогулки посылал меня в спальню читать. «Так он у вас никогда не станет крепким и бодрым, – печально говорила она, – а ведь нашему малышу надо набираться сил

---

<sup>12</sup> *Астральное тело* – в оккультных науках так называется двойник физического тела, обладающий более тонкой организацией и возможностью существования в ином измерении.

<sup>13</sup> ...и Синей Бороде... – Имеется в виду сказка Шарля Перро (1628–1703).

и стойкости». Отец пожимал плечами и глядел на барометр, потому что любил метеорологию, а мама, стараясь не шуметь, чтобы ему не мешать, смотрела на него с нежным почтением, но не слишком пристально, даже и не пытаясь проникнуть в тайну его превосходства. Но в любую погоду, даже когда свирепствовал дождь и Франсуаза стремительно вносила в дом драгоценные плетеные кресла, чтобы их не попортила вода, бабушку можно было видеть в пустом саду, под хлещущим ливнем; она отводила назад растрепанные седые волосы, подставляя ветру и дождю лоб, чтобы он лучше напитался целебной влагой. Она говорила: «Наконец-то можно дышать!» – и обходила промокшие аллеи – чересчур, на ее вкус, симметрично проложенные новым, лишенным чувства природы садовником, которого отец с самого утра спрашивал, наладится ли погода, – бодрыми порывистыми шажками, ритмом которых управляли разнообразные движения души, порожденные куда больше упоением от дождя, могуществом гигиены, бестолковостью моего воспитания и симметричной планировкой сада, чем чуждым ей стремлением уберечь от пятен фиолетовую юбку, которая оказывалась залепана сплошь, так что горничную потом озадачивало и приводило в отчаяние то, как высоко долетали брызги.

Когда бабушка после обеда кружила по саду, только одно могло вернуть ее домой; пока она, влекомая по орбите прогулки, снова и снова, подобно мошке, оказывалась перед огнями малой гостиной, где на ломберном столике были вы-

ставлены напитки, иной раз двоюродная бабушка кричала ей: «Батильда!<sup>14</sup> Иди сюда и скажи мужу, чтобы не пил коньяку!» И впрямь, чтобы ее подразнить (ведь она вносила в семью моего отца совершенно чуждый дух, и за это все ее вышучивали и изводили), моя двоюродная бабушка угощала деда, которому спиртное было запрещено, капелькой коньяку. Бедная бабушка шла в гостиную и начинала пылко угощать мужа не прикасаться к коньяку; он сердился, назло выпивал глоток, и бабушка уходила, печальная, поникшая, но все равно с улыбкой на губах, потому что она была так смиренна духом и кротка, что ее нежность к другим и полное невнимание к собственной персоне и к своим огорчениям примирались в улыбке, сопровождавшей ее взгляд, и в улыбке этой, в противоположность улыбкам прочих смертных, сквозила ирония, обращенная только на нее саму, а нас она словно целовала глазами, озарявшими тех, кого она любила, горячим и ласковым взглядом – иначе они не умели. Пытка, которую ей устраивала моя двоюродная бабушка, тщетные бабушкины мольбы и ее заранее обреченная на поражение слабость, когда она безуспешно пыталась отнять у деда рюмку, – ко всему этому потом привыкаешь, и даже смеешься, и весело и безоглядно принимаешь сторону гонителя, желая самого себя убедить, что никаких гонений и нет; а в то вре-

---

<sup>14</sup> Имя Батильда, которое носит бабушка рассказчика, очень редкое и значит «крещенная водой» (из греч. яз.) – как видно, не зря бабушка любит гулять под дождем. Это имя святой, прославившейся добрыми делами, которая жила в VII в. и была женой Хлодвиг II, что опять отсылает нас к меровингской старине.

меня подобные сцены приводили меня в такой ужас, что я готов был побить двоюродную бабушку. Но когда я слышал: «Батильда! Иди сюда и скажи мужу, чтобы не пил коньяку!» – я трусливо, как взрослый, делал то, что делаем все мы, взрослея, когда сталкиваемся со страданием и несправедливостью: я не хотел их видеть; я уходил рыдать на самый верх дома, в комнатку рядом с классной, под крышей, где пахло ирисом, а еще дикой черной смородиной, выросшей снаружи на стене в щели между камней, – ее цветущая ветка тянулась в полуоткрытое окно. Комнатка эта, предназначенная совсем для других, более низменных целей, из которой днем было видно аж до самой башни замка в Руссенвиль-ле-Пен, долго служила мне прибежищем – конечно же, потому, что это была единственная комната, которую мне разрешалось запира́ть на ключ, чтобы предаваться всему, что требовало нерушимого уединения: чтению, мечтам, слезам и чувственности. Увы, я не знал, что куда сильнее мелких отступлений от диеты, которые позволял себе ее муж, бабушку тревожили мое безволие и хрупкое здоровье и что в них она воображала угрозу моему будущему, когда бесконечно кружила вечерами, чуть клоня набок и поднимая к небу прекрасное свое лицо со смуглыми морщинистыми щеками, которые с годами стали почти сиреневыми, как осеннее вспаханное поле; выходя из дому, она прикрывала их короткой вуалеткой, и на них всегда виднелась непросохшая слеза, исторгнутая не то холодом, не то невеселыми мыслями.

Единственным утешением, пока я поднимался к себе наверх спать, служило мне то, что мама придет поцеловать меня перед сном. Но прощание длилось так недолго, а уходила она так скоро, что, когда я слышал, как она поднимается и как потом шуршит по коридору с двойной дверью ее летнее платье из голубого муслина, обшитое ленточками из плетеной соломки, самый этот миг для меня был мучителен. Он предвещал все, что будет потом, как только она покинет меня, уйдет вниз. Я даже, хотя так любил это прощание, мечтал, чтобы оно произошло как можно позже, мечтал еще немного подождать маму. Когда, поцеловав меня, она уже отворяла дверь и собиралась уходить, я порывался окликнуть ее, сказать: «Поцелуй меня еще», но я знал, что она сразу нахмурится, потому что и так уже она совершила уступку моей печали и моему волнению, пришла попрощаться, принесла мне свой умиротворяющий поцелуй, и это раздражало отца, считавшего весь ритуал глупостью, а потому ей хотелось, чтобы я постепенно перестал в нем нуждаться, отказался от этой привычки, а вовсе не привыкал просить ее о новом поцелуе, когда она уже в дверях. И вот, едва я видел, что она сердится, как исчезало облегчение, которое она приносила мне мигом раньше, когда склоняла над моей постелью свое нежное лицо и протягивала его мне, словно облатку, причащавшую покою, чтобы мои губы поверили, что она в самом деле здесь, и на меня снизошла сила заснуть. Но эти вечера, когда мама так ненадолго задерживалась у меня в спальне,

были еще ничего, ведь когда к ужину являлись гости, она не приходила совсем. Гости – это был обычно г-н Сванн, который, помимо немногих случайных посетителей, чуть ли не единственный навещал нас в Комбре, иногда по-соседски заглядывал к ужину (реже с тех пор, как он столь неудачно женился, потому что родители мои не желали принимать его жену), иногда после ужина, сюрпризом. Вечерами, когда, сидя перед домом под большим каштаном вокруг железного стола, мы слышали из дальнего конца сада не тот зычный и пронзительный трезвон, который разливался и оглушал своим металлическим, неиссякаемым и ледяным звуком любого домочадца, пробуждавшего его к жизни тем, что входил «без звонка», а нерешительное, округлое и золотистое двукратное звяканье колокольчика для посторонних, все тут же задавались вопросом: «К нам гости, кто бы это?» – но все уже знали, что некому и быть, кроме г-на Сванна; двоюродная бабушка, подавая пример, громким голосом и нарочито естественным тоном говорила, что не надо шушукаться: это крайне обидно для гостя, он может подумать, что разговор не предназначен для его ушей; на разведку отправляли бабушку, благо она всегда была рада лишний раз прогуляться по саду и заодно, не останавливаясь, украдкой вырвать из-под розовых кустов несколько подпорок, чтобы розы выглядели естественнее, словно мамаша, треплющая сына по голове, чтобы слегка взъерошить чересчур прилизанные парикмахером волосы.

Мы все с нетерпением ждали новостей о неприятеле, которые должна была принести бабушка, словно не знали, кто именно среди огромного множества возможных недругов идет на приступ, и вскоре дед провозглашал: «Узнаю голос Сванна». И в самом деле, его узнавали только по голосу, а лицо – нос с горбинкой, зеленые глаза, высокий лоб в ореоле белокурых, почти рыжих волос, причесанных под Брессана<sup>15</sup>, – было еще почти неразлично, потому что в саду зажигали как можно меньше света, чтобы не приманивать комаров; и я потихоньку отправлялся сказать, чтобы принес-ли прохладительное, что, по понятиям бабушки, было очень важно, поскольку ей казалось, что так гораздо гостеприимнее: напитки не должны были выглядеть исключительной мерой, нарочно для гостей. Г-н Сванн был чрезвычайно привязан к деду, несмотря на то что был намного его моложе: дед был лучшим другом его отца, превосходного, хотя и чудаковатого человека, которому, говорят, довольно бывало сущего пустяка, чтобы перейти от восторга к равнодушию, от одной мысли к другой. Много раз в году дед при мне рассказывал за столом истории, всегда одни и те же, о том, как вел себя г-н Сванн-отец, когда умерла его жена, от которой он не отлучался ни днем ни ночью. Мой дед, который уже давно с ним не виделся, поспешил к нему, в имение Сваннов в окрест-

---

<sup>15</sup> ...волос, причесанных под Брессана ... – Речь идет о прическе ежиком, введенной в моду актером «Комеди Франсез» Жаном Брессаном (1815–1886). Такую прическу носил Шарль Хаас, который был, по признанию самого Пруста, основным прототипом Сванна.



ностях Комбре, и ему удалось увести рыдающего друга из спальни покойной перед тем, как ее должны были класть в гроб. Они немного прошли по парку, где светило неяркое солнце. Вдруг г-н Сванн взял деда под руку и воскликнул: «Ах, дорогой мой, какое счастье гулять по парку вдвоем в ясную погоду! Взгляните, какая красота – все эти деревья, боярышник и мой пруд, о котором вы мне ни разу слова доброго не сказали! Какой-то вы толстокожий. Неужели не чувствуете, какой ветерок? Ах, что ни говори, в жизни все-таки много прекрасного, милый Амеде!» Внезапно он вспомнил об умершей жене, и, чувствуя, видимо, как трудно ему было бы доискаться причин своего всплеска радости в такую минуту, он просто провел рукой по лбу – жест, свойственный ему всякий раз, когда его умом овладевал неразрешимый вопрос, – и вытер глаза, а потом стекла пенсне. А между тем он так и не утешился после смерти жены, но в те два года, на которые он ее пережил, дед не раз слышал от него: «Как странно, я очень часто думаю о бедняжке, но не могу думать о ней подолгу». «Часто, но не подолгу, как бедный папаша Сванн» – это стало любимой присказкой моего деда в самых разных случаях жизни. Я бы решил, что отец Сванна был чудовищем, но дед – а я почитал его наилучшим судьей, и его приговор, олицетворяя для меня справедливость, часто в дальнейшем помогал мне прощать проступки, которые сам я был склонен скорее осуждать, – так вот, дед восклицал: «О чем ты говоришь! Золотое сердце!»

Между тем долгие годы, пока г-н Сванн-младший, особенно до женитьбы, часто навещал моих дедушку с бабушкой и двоюродную бабушку в Комбре, они и не подозревали, что он уже не принадлежит к тому обществу, в котором встречались его родные, и под именем Сванна, обеспечивавшим ему у нас своего рода инкогнито, они, в своем безграничном неведении уподобляясь хозяевам гостиницы, приютившим в своих стенах, сами того не зная, знаменитого разбойника, оказывают гостеприимство одному из самых элегантных членов Жокей-клуба<sup>16</sup>, ближайшему другу графа Парижского<sup>17</sup> и принца Уэльского<sup>18</sup>, человеку, которого лелеяло высшее общество Сен-Жерменского предместья<sup>19</sup>.

Наше неведение насчет блестящей светской жизни Сванна, по-видимому, объяснялось отчасти присущими ему скромностью и сдержанностью, но еще и тем, что тогдаш-

---

<sup>16</sup> *Жокей-клуб* – один из наиболее закрытых и элегантных парижских клубов, основан в 1834 г.

<sup>17</sup> *Граф Парижский* – Луи Филипп Альберт Орлеанский (1838–1894), внук короля Луи Филиппа; дважды был выслан из Франции как претендент на престол.

<sup>18</sup> *Принц Уэльский* – титул английского престолонаследника; имеется в виду будущий Эдуард VII (1841–1910), сын королевы Виктории, вступивший на престол после ее смерти – в 1901 г. По свидетельствам современников, во время своего пребывания в Париже он был центром притяжения для высшего света. Однажды он был на званом обеде в доме баронессы Греффюль, которую Пруст хорошо знал (в «Стороне Германта» Пруст отразит это событие в сцене приема у герцогини Германтской).

<sup>19</sup> *Сен-Жерменское предместье* – квартал в Париже (7-й округ), где с XVIII в. селились наиболее аристократические семейства.

ние буржуа представляли себе общество несколько на индийский лад и считали, что оно разделено на замкнутые касты, где каждый с самого рождения обретает место на той ступени, какую занимают его родители, и ничто уже не сдвинет вас оттуда и не вознесет в высшую касту, кроме такой случайности, как головокружительная карьера или неожиданный брачный союз. Г-н Сванн-отец был биржевой маклер; «сыну Сванна» на роду было написано всю жизнь принадлежать к касте тех, чьи доходы, как в определенном разряде налогоплательщиков, колеблются в таких-то и таких-то пределах. Круг его отца был известен – следовательно, и сам он принадлежит тому же кругу, и понятно было, с кем он «в состоянии» там столкнуться. Если он и знал других людей, то это были знакомства молодого человека, на которые старинные друзья семьи, например мои родные, легко закрывали глаза, благо с тех пор, как Сванн осиротел, он неуклонно продолжал к нам наведываться; но можно было держать пари, что эти неведомые нам люди, с которыми он видался, были из тех, с кем он бы не посмел поздороваться в нашем присутствии. Если бы моим родным во что бы то ни стало захотелось рассчитать уровень, занимаемый Сванном в обществе, присущий лично ему среди всех маклерских сыновей того же круга, что его родители, этот уровень для него оказался бы слегка пониже, потому что Сванн держался очень просто и, питая давнюю слабость к антикварным вещцам и картинам, жил теперь в старом, до отказа набитом коллекци-

ями особняке, куда моя бабушка мечтала когда-нибудь попасть, но расположен был особняк на Орлеанской набережной, в квартале, где, по мнению моей двоюродной бабушки, жить было неприлично<sup>20</sup>. «Да вы хоть разбираетесь в искусстве? Я для вашего же блага спрашиваю, а то вам торговцы всучат любую мазню», – говорила двоюродная бабушка; в самом деле, она совершенно не предполагала в нем знатка, да и в умственном отношении не слишком высоко ставила человека, который в разговоре избегал серьезных предметов и входил в самые прозаические подробности, причем не только в тех случаях, когда делился с нами кулинарными рецептами, уснащая их бесконечными уточнениями, но даже когда бабушкины сестры заводили разговор об искусстве. Если его подбивали высказать свое мнение, выразить восхищение какой-либо картиной, он не слишком любезно отмалчивался, искупая вину тем, что давал, если мог, точные сведения о музее, где хранится картина, или о дате ее создания. Но обычно он просто старался нас развлечь и каждый раз рассказывал новую историю, которая приключилась у него с людьми, которых мы знали, – с комбрейским аптекарем, или с нашей же кухаркой, или с нашим кучером. Конечно, моя двоюродная бабушка хохотала над этими рассказами, но не понимала, что именно ее так смешит – забав-

---

<sup>20</sup> Орлеанская набережная на острове Сен-Луи, в самом центре Парижа, в XIX в. не считалась подходящим местом для жилья в среде богатой буржуазии, предпочитавшей район авеню Оперы и бульвар Осман.

ная роль, которую отводил себе Сванн в этих историях, или остроумие, с которым он их рассказывал: «Ну вы и умора, господин Сванн! Умора, и все тут!» Она единственная у нас в семье была не лишена вульгарности, поэтому при посторонних, если упоминали о Сванне, неукоснительно замечала, что он бы мог при желании жить на бульваре Османна или авеню Оперы, что он – сын г-на Сванна, который оставил ему, надо думать, не то четыре, не то пять миллионов, но вот такая у него прихоть. Причем эта прихоть представлялась ей настолько занимательной для окружающих, что в Париже, когда г-н Сванн являлся к ней первого января с неизменными засахаренными каштанами, она не упускала случая сказать, если при этом были другие гости: «Ну что, господин Сванн, вы все живете у винных складов, поближе к вокзалу – боитесь опоздать на лионский поезд?» И краешком глаза поверх лорнета поглядывала на остальных гостей.

Но если бы моей двоюродной бабушке сказали, что этот Сванн, вполне «достойный» бывать «в лучших домах нашего сословия», у самых почтенных парижских нотариусов и адвокатов (хотя он вроде бы и прошляпил эту привилегию), тайком ведет совершенно иную жизнь; что в Париже, уходя от нас якобы домой, спать, он за углом сворачивает в другую сторону и спешит в один из тех салонов, куда вовеки не ступала нога маклера или торгового агента, – это показалось бы моей двоюродной бабушке столь же необычным, как более образованной даме – мысль, что она лично знакома с Ари-

стеem<sup>21</sup> и понимает, что, поболтав с ней, он нырнет в царство Фетиды, в пучину, сокрытую от взоров смертного, где, как показал нам Вергилий, его примут с распростертыми объятиями; или – обратимся к образу, который скорее мог прийти ей на ум, поскольку был запечатлен на тарелочках для пирожных у нас в Комбре, – что к ней на обед приходил Али-Баба, который, едва оставшись один, проникнет в свою пещеру, блистающую неожиданными сокровищами<sup>22</sup>.

Однажды в Париже он заглянул к нам после обеда, извинившись, что на нем фрак, а после его отъезда Франсуаза сказала со слов кучера, что он обедал «у принцессы». «Да-да, у принцессы полусвета!»<sup>23</sup> – откликнулась моя двоюродная бабушка с безмятежной иронией, пожав плечами и не отрывая глаз от вязания.

Итак, двоюродная бабушка с ним не церемонилась. Пола-

---

<sup>21</sup> *Аристей* – персонаж поэмы Вергилия «Георгики» (кн. 4, ст. 317–558), научивший людей пчеловодству. Несмотря на божественное происхождение, Аристей был простым пастухом; однако, когда он обратился за помощью к матери – Кирене, правнучке Океана, нимфе потока Пеней, – она приняла его, ввела в царство морской богини Фетиды, научила, как узнать о причине постигшей его беды и спасти погибших пчел.

<sup>22</sup> Первая из многочисленных ссылок на сказки «Тысячи и одной ночи», рассыпанных по роману. Эти сказки в новом переводе Мардрюса публиковались во Франции с 1899 по 1904 г., и Пруст много раз обращается к ним как в своих письмах, так и в романе, где он и упоминает сами сказки, и обсуждает их новый перевод.

<sup>23</sup> *...у принцессы полусвета!..* – Это словечко ввел в обиход Александр Дюма-сын, написавший в 1855 г. пьесу «Полусвет».

гая, что наши приглашения для него – большая честь, она принимала как должное корзинки с персиками или малиной из его сада, без которых он у нас не появлялся, и фотографии шедевров искусства, которые он всякий раз привозил мне из Италии.

За ним без малейшего стеснения посылали, чтобы узнать рецепт соуса «грибиш»<sup>24</sup> или салата с ананасом для званых обедов, на которые самого Сванна не приглашали, полагая, что он недостаточно важная персона, чтобы угощать им посторонних, которые впервые будут в доме. Если разговор случайно касался французских принцев крови, двоюродная бабушка говорила: «Люди, которых мы с вами никогда не узнаем и легко без этого обойдемся, не правда ли», причем говорила не кому-нибудь, а Сванну, у которого, возможно, лежало в кармане письмо из Твикнхэма<sup>25</sup>; вечерами, когда бабушкина сестра пела, двоюродная бабушка заставляла его двигать рояль и перелистывать ноты и помыкала этим человеком, которого так ценили в других местах, с наивной грубостью ребенка, играющего с драгоценной вещицей небрежно, как с дешевой побрякушкой. Вероятно, Сванн, хорошо известный в те годы завсегдатаям клубов, сильно отличался от Сванна, которого создавала моя двоюродная бабушка,

---

<sup>24</sup> ...рецепт соуса «грибиш»... – соус из уксуса и растительного масла с яйцом и травами.

<sup>25</sup> В Твикнхэме (Англия) жил во время первого изгнания граф Парижский. Там был центр французской монархической оппозиции.

вооружась всем, что знала о семье Сваннов, когда она вечерами, в садике в Комбре, слыша двойное нерешительное звяканье колокольчика, вдыхала жизнь в безвестное и зыбкое существо со знакомым голосом, возникавшее из темноты впереди бабушки. Но ведь какую мелочь нашей жизни ни возьми, каждый из нас – не просто некое материальное единство, в котором любой человек увидит одно и то же, стоит ему только ознакомиться с нами, как с расходной книгой или завещанием; наша индивидуальность создается мыслями других людей. Даже простой поступок, который у нас называется «встретить знакомого», есть до некоторой степени интеллектуальное свершение. Видя человека, мы наполняем его облик всеми нашими понятиями о нем, и в общем нашем представлении эти понятия наверняка занимают главное место. В конце концов они начинают так безупречно округлять его щеки, с такой точностью льнут к линии носа, такой тонкий нюанс придают звучанию голоса, словно внешность – лишь прозрачная оболочка, и всякий раз, видя это лицо и слыша этот голос, мы вновь обретаем и слышим все те же понятия. Вероятно, того Сванна, которого выстроили для себя мои родные, они по незнанию обделили множеством примет его светской жизни, благодаря которым другие люди, оказавшись в его обществе, замечали, какая утонченность царит в его лице, не распространяясь лишь на нос с горбинкой, по которому словно прошла ее природная граница; поэтому, вылушив все обаяние, мои родные, должно быть, вливали в



это порожнее, ничем не наполненное лицо, на самое дно этих бессмысленных глаз, мутный, сладкий осадок – полувоспоминание, полузабвение, – оставшийся от досужих совместных сидений после наших еженедельных обедов вокруг ломберного столика или в саду, из времен деревенского добрососедства. Все это так плотно начинило телесную оболочку нашего друга (да еще добавились кое-какие воспоминания о его родных), что этот Сванн стал полноценным живым существом, и мне кажется, что я от одного человека перехожу к другому, совсем непохожему, когда в памяти своей от того Сванна, с которым был подробно знаком позже, возвращаясь к этому первому Сванну, – тому, в ком я узнаю милые ошибки собственной юности и кто, надо сказать, похож не столько на Сванна второго, сколько на других людей, которых я знал в те времена, словно наша жизнь подобна музею, где все портреты одной и той же эпохи в чем-то сродни друг другу и выдержаны в одном стиле, – к этому первому Сванну, исполненному праздности, благоухающему ароматом старого каштана, корзиночек с малиной и стебелька эстрагона.

Между прочим, однажды бабушка отправилась просить об услуге одну даму, с которой познакомилась в монастырской школе Сакре-Кёр<sup>26</sup> (и с которой, согласно нашим представлениям о кастах, не захотела поддерживать отношения,

---

<sup>26</sup> Под Сакре-Кёр здесь подразумевается школа для девочек в Париже, где учились дочери аристократов и преуспевающих буржуа.

несмотря на взаимную симпатию), – маркизу де Вильпаризи из знаменитого семейства герцогов Бульонских<sup>27</sup>, – и та сказала: «По-моему, вы хорошо знакомы с господином Сванном, близким другом Деломов, моих племянников». Бабушка вернулась от нее, восхищаясь домом, выходявшим в сад, – г-жа де Вильпаризи советовала ей снять там квартиру, – а также жилетником и его дочерью, державшими мастерскую во дворе: к ним она зашла и попросила зашить ей юбку, которую порвала на лестнице. Бабушка была в восторге от этих людей, объявила, что малышка – воистину жемчужина, а жилетник – воплощение благовоспитанности, равных которому она не встречала. А все потому, что в ее глазах благовоспитанность совершенно не зависела от общественного положения. Она восторгалась каким-то ответом жилетника и говорила маме: «Лучше не сказала бы и Севинье!»<sup>28</sup> – зато о племяннике г-жи де Вильпаризи, встреченном у той в доме, отзывалась: «Ах, дочка, он такой банальный!»

---

<sup>27</sup> ...из знаменитого семейства герцогов Бульонских... – Буйон, или, по традиционной транскрипции, Бульон, – французский герцогский род, считающий родоначальником Готфрида Бульонского, знаменитого крестоносца и первого короля Иерусалима (1099); ветвь семьи де Латур д'Овернь. Матери Базена, герцога Германтского, и Орианы, герцогини Германтской (которые появятся в романе немного погодя), а также г-жа де Вильпаризи – родные сестры и урожденные герцогини Бульонские.

<sup>28</sup> *Севинье* – Мари де Рабютен-Шанталь, маркиза де Севинье (1626–1696), автор знаменитых «Писем», адресованных ее дочери графине де Гриньян, часто упоминаемых у Пруста, – любимый автор матери Марселя Пруста, а в романе – бабушки и матери рассказчика.

Так вот, упоминание о Сванне не столько возвысило его в глазах моей двоюродной бабушки, сколько принизило г-жу де Вильпаризи. Словно почтение, которое, доверяя бабушке, мы питали к г-же де Вильпаризи, возлагало на нее долг ни в чем не ронять своего достоинства, и этим долгом она, оказывается, пренебрегла, поскольку знает о существовании Сванна и позволяет своим родственникам с ним дружить. «Она знает Сванна? Быть не может! А ты еще говорила, что она в родстве с маршалом Мак-Магоном!<sup>29</sup>» Это мнение моих родителей о знакомствах Сванна потом еще подкрепила его женитьба на женщине из дурного общества, почти кокотке, которую, впрочем, он никогда и не стремился им представить и в гости к нам приходил по-прежнему один, хотя все реже и реже, но они полагали, что по этому браку могут судить о неведомом им круге (предполагалось, что именно там он нашел себе жену), в котором он обыкновенно бывал.

Но однажды мой дед вычитал в газете, что г-н Сванн – один из непременноших гостей на воскресных обедах у герцога Икс, отец и дядя которого были наиболее заметными государственными деятелями в царствование Луи Филиппа<sup>30</sup>. А дед интересовался всякими мелкими обстоятельства-

---

<sup>29</sup> ...с маршалом Мак-Магоном! – Патрис, граф де Мак-Магон, герцог де Мажанта, маршал Франции (1808–1893); первый президент Третьей республики (1873–1879). Помимо прямого упоминания в романе, он послужил Прусту прототипом для второстепенного персонажа, родственника г-жи де Вильпаризи.

<sup>30</sup> Царствование Луи Филиппа (1773–1850) охватывает период с 1830 по 1848 г.; во времена, описываемые в романе, оно было недавним прошлым. Гер-

ми, позволявшими ему мысленно соприсутствовать в частной жизни таких деятелей, как Моле<sup>31</sup>, или герцог де Пакье, или герцог де Брольи<sup>32</sup>. Он пришел в восторг, узнав, что Сванн общается с людьми, которые их знали. Двоюродная бабушка, наоборот, истолковала эту новость не в пользу Сванна: тот, кто выбирал себе знакомых вне касты, в лоне которой был рожден, вне своего общественного «класса», оказывался в ее глазах непоправимо деклассирован. Ей казалось, что этот человек разом отказался от плодов всех добрых отношений с людьми, занимавшими прекрасное положение, а ведь отношения эти в предусмотрительных семьях так заботливо поддерживались и хранились для детей (моя двоюродная бабушка даже прекратила знакомство с сыном нотариуса наших друзей, потому что он женился на какой-то «светлости» и тем самым, с ее точки зрения, из почтенного сословия сыновей нотариусов упал до уровня одного из тех

---

цог де Икс – это, по мнению французских комментаторов, герцог д’Одифре-Пакье (1823–1905), сын графа д’Одифре (1789–1858) и внучатый племянник канцлера Этьена-Дени Пакье (1767–1862), упоминаемого в том же разговоре. Другой упоминаемый политический деятель – не отец, а дядя герцога д’Одифре-Пакье: это маркиз д’Одифре (1787–1878), пэр Франции и сенатор в царствование Луи Филиппа.

<sup>31</sup> *Луи-Матье, граф Моле* (1781–1855) – премьер-министр в царствование Луи Филиппа, с 1836 по 1839 г. член палаты пэров, был избран во Французскую академию за книгу «Эссе о морали и политике». О нем в дальнейшем будет упоминать маркиза де Вильпаризи в книге «Под сенью девушек в цвету».

<sup>32</sup> *Герцог Ашиль Леон Шарль Виктор де Брольи* (1785–1870) был министром иностранных дел (1832) и премьер-министром (1835–1836) при Луи Филиппе.

авантюристов, конюхов или лакеев, о которых рассказывают, что в прежние времена королевы подчас дарили им свои милости). Она осудила план деда – в первый же раз, когда Сванн придет к нам обедать, порасспросить его об этих его друзьях, обнаруженных нами. С другой стороны, сестры моей бабушки, две старые девы, такие же великодушные, как она, но далеко не такие умные, объявили, что не понимают, что за радость их зятю разговаривать о подобных глупостях. Это были возвышенные натуры, в силу своей возвышенности не способные интересоваться так называемыми сплетнями, пускай даже не лишенными исторического интереса, и вообще всем, что не касается напрямую какого-нибудь эстетического или добродетельного предмета. В мыслях у них настолько отсутствовал интерес ко всему, что прямо или косвенно относилось к светской жизни, что, как только разговор за обедом принимал легкомысленный или просто приземленный характер и двум старым девам никак было не перевести его на предметы, которые были им дороги, их слуховое восприятие как будто убеждалось, что заняться ему нечем, и органы слуха отключались, словно при глухоте. В такие минуты, если деду надо было привлечь внимание сестер, ему приходилось прибегать к физическим приемам вроде тех, которыми пользуются врачи-психиатры с больными, страдающими маниакальной рассеянностью, например пускать в ход стук лезвием ножа по стакану одновременно с резким окликом и пристальным взглядом, – грубые сред-

ства, которые доктора часто применяют и в обиходе, со здоровыми людьми, не то по профессиональной привычке, не то полагая, что все вокруг слегка не в своем уме.

Бабушкины сестры больше заинтересовались, когда накануне обеда, на который был приглашен Сванн, загодя приславший специально для них ящик асти, двоюродная бабушка, держа в руках номер «Фигаро»<sup>33</sup>, где в отчете о выставке Коро<sup>34</sup> рядом с названием одной из его картин было напечатано: «Из коллекции г-на Шарля Сванна», сказала нам: «Вы видели, что Сванн прославили в „Фигаро“?» – «А я вам всегда говорила, что у него прекрасный вкус», – сказала бабушка. «Ну, тебе лишь бы с нами поспорить», – возразила двоюродная бабушка, которая знала, что бабушка никогда с ней не соглашалась, но совсем не была уверена в нашей поддержке и хотела вырвать у нас тотальное осуждение бабушкиных взглядов, чтобы объединиться против нее единым фронтом. Однако мы молчали. Бабушкины сестры заикнулись, что хотят поговорить со Сванном о сообщении в «Фигаро», но двоюродная бабушка им отсоветовала. Всякий раз, когда она замечала у других преимущество, пускай крохотное, которым не обладала сама, она убеждала себя, что

---

<sup>33</sup> «Фигаро» – газета, основанная в 1854 г.; выходит по сей день. Пользовалась огромным влиянием во времена Третьей республики. В ней печатались светские новости, а также колонка, посвященная литературе и искусству, для которой писал и Пруст.

<sup>34</sup> Камиль Кору (1796–1875) – французский художник, предтеча импрессионизма. Его картину «Шартрский собор» Пруст называл в числе самых любимых.

это не преимущество, а недостаток, и вместо того, чтобы завидовать этим людям, жалела их. «Думаю, что вы его не обрадуете, мне, например, было бы неприятно видеть свое имя вот так, в газете, и мне бы не польстило, если бы со мной об этом заговорили». Впрочем, она не слишком усердно перубеждала бабушкиных сестер: боясь вульгарности, они настолько искусно прятали любой личный намек под покровом запутанных иносказаний, что часто этого намека не замечал даже тот, к кому он был обращен. А моя мама думала только о том, как бы добиться от отца, чтобы он согласился расспросить Сванна если не о его жене, то хотя бы о дочке, которую тот обожал и, как считалось, из-за нее-то и женился. «Просто спроси, как она поживает, вот и все. Ему, должно быть, очень тяжело». Но отец сердился: «Ни в коем случае! Что ты выдумываешь глупости? Это было бы просто смешно!»

Но только мне, единственному из всей семьи, визиты Сванна приносили мучительные переживания. А все потому, что в те вечера, когда приходили посторонние или только один посторонний, г-н Сванн, мама не поднималась ко мне в спальню. Я обедал раньше, а потом садился за стол со всеми, но заранее было условлено, что в восемь встану и уйду; и тот драгоценный хрупкий поцелуй, который обычно мама дарила мне, когда я засыпал, теперь еще надо было донести от столовой до спальни и сохранить на все время, пока я раздевался, да так, чтобы не разбилась его нежность, не расплескались и не развеялись его воздушные чары, причем как раз

в те вечера, когда я чувствовал, что хорошо бы принять этот поцелуй особенно бережно, приходилось получать его прилюдно, чуть не похищать, и у меня даже не было ни времени, ни права вкладывать в эту церемонию все внимание, с каким маньяк старается ни на что не отвлекаться, пока затворяет дверь, чтобы потом, когда к нему вернется болезненная неуверенность, победоносно противопоставить ей память о том миге, когда он эту дверь затворял. Мы все сидели в саду, и вот дважды нерешительно звякнул колокольчик. Было ясно, что это Сванн, однако все вопросительно переглянулись, и бабушку послали на разведку. «Не упустите внятно его поблагодарить за подарок, вино превосходное, да еще такой огромный ящик», – напомнил дедушка свояченицам. «Не шушукайтесь, – сказала двоюродная бабушка. – Очень приятно приходить в дом, где все что-то шепчут!» – «А вот и господин Сванн. Сейчас мы у него спросим, как он считает, хороша ли завтра будет погода», – сказал отец. Мама полагала, что одно слово из ее уст загладит все обиды, причиненные ему нашей семьей с тех пор, как он женился. Она исхитрилась отвести его в сторонку. Но я пошел за ней; я не решался отпустить ее от себя ни на шаг, зная, что скоро мне уходить из столовой к себе в спальню без обычного вечернего утешения и что она не придет ко мне и не поцелует. «Господин Сванн, – сказала она ему, – расскажите-ка мне о вашей дочке. Я уверена, что она уже умеет, как ее папа, понимать прекрасное». «Пойдемте-ка сядем все вместе на веранде», –



сказал, подойдя ближе, дед. Маме пришлось умолкнуть, но сама эта помеха подсказала ей еще один деликатный ход: так тирания рифмы побуждает хорошего поэта достичь в стихе наивысших красот. «Мы еще поговорим с вами о ней, когда останемся вдвоем, — вполголоса сказала она Сванну. — Только мать сумеет понять вас по-настоящему. Уверена, что мама вашей дочурки согласилась бы со мной». Мы все расселись вокруг железного стола. Я старался не думать о тоскливых часах, которые проведу нынче вечером один у себя в спальне, не в силах заснуть; я пытался себя уговорить, что это не важно, потому что наутро я их забуду; я цеплялся за мысли о будущем, надеясь, что они, словно по мостику, переведут меня через надвигавшуюся пропасть, которая меня пугала. Но мой занятый одной-единственной заботой ум и впившийся в маму взгляд напряглись и отторгали любое постороннее впечатление. Мысли проникали в мой рассудок избирательно: отметалось все прекрасное или просто забавное, что могло бы тронуть меня или развлечь. Как больной, благодаря обезболиванию, с полным сознанием присутствует на операции, которую над ним производят, но при этом ничего не ощущает, так и я мог бы прочесть любимые стихи или обратить внимание, как дедушка старается навести г-на Сванна на разговор о герцоге д'Одифре-Пакье, но стихи меня не трогали, а дедушкины хитрости не смешили. Они и не увенчались успехом. Не успел дедушка спросить Сванна об этом ораторе, как одна из бабушкиных сестер, поскольку в

ушах у нее этот вопрос прозвучал как глубокая, но неуместная тишина, которую вежливым людям надлежит прервать, обратилась к другой сестре: «Вообрази, Селина, я познакомилась с молодой шведской учительницей, которая поделилась со мной поразительно интересными подробностями о кооперативах в скандинавских странах. Надо бы как-нибудь пригласить ее на обед». – «Ты совершенно права! – отвечала ее сестра Флора<sup>35</sup>. – А я тоже время даром не теряла. Я у господина Вентейля встретила одного старика-ученого, который хорошо знаком с Мобаном<sup>36</sup>, и Мобан подробнейшим образом рассказывал ему, как он работает над ролью. Это поразительно интересно. Он сосед господина Вентейля, а я и не знала, милейший человек». – «Не у одного господина Вентейля милые соседи!» – воскликнула тетка Селина от застенчивости слишком громко, а от предумышленности несколько вымученно, бросив при этом на Сванна свой так называемый многозначительный взгляд. Одновременно тетка Флора, понимая, что эти слова выражают благодарность Селины за вино, тоже глянула на Сванна с видом признательным и вместе с тем ироническим, то ли желая просто подчеркнуть тонкость сестры, то ли завидуя Сванну, что он ее на это вдохновил, то ли невольно насмехаясь над жертвой все-

---

<sup>35</sup> ...отвечала ее сестра Флора. – По недосмотру Пруста обе реплики оказываются приписаны одному и тому же лицу.

<sup>36</sup> Анри-Поллидор Мобан (1821–1902) – актер «Комеди Франсез», выступавший в амплу благородных отцов, королей, тиранов. Ушел со сцены в 1888 г.

общего внимания. «Надеюсь, что нам удастся залучить этого господина на обед, – продолжала Флора. – Если упомянуть при нем Мобана или мадмуазель Матерна<sup>37</sup>, он способен говорить часами без передышки». – «Наверное, это восхитительно», – вздохнул дед, которому природа, к несчастью, настолько же отказала в способности страстно интересоваться шведскими кооперативами или работой Мобана над ролью, насколько бабушкиных сестер та же природа забыла снабдить щепоткой соли, которую нужно добавлять от себя, чтобы наслаждаться повествованием о частной жизни Моле или графа Парижского. «Пожалуй, то, что я вам скажу, – обратился Сванн к деду, – касается вашего вопроса ближе, чем может показаться, потому что в некоторых отношениях времена не так уж и меняются. Нынче утром я перечитывал одно место у Сен-Симона<sup>38</sup>, которое могло бы вас позабавить. Это в томе, где он рассказывает, как был послом в Испании<sup>39</sup>; не самое лучшее место у него, почти газета, но газета, по край-

---

<sup>37</sup> *Амалия Матерна* (1847–1918) – австрийская певица, исполнительница главных ролей в операх Вагнера; выступала в Вене, Париже, Лондоне и Нью-Йорке. Ушла со сцены в 1897 г.

<sup>38</sup> *Луи де Рувруа, герцог де Сен-Симон* (1675–1755) – придворный Людовика XIV и регента Филиппа Орлеанского, автор «Мемуаров», охватывающих период с 1691 по 1723 г. Пруст часто обращается к Сен-Симону, высоко ценит его язык и стиль, искусство словесного портрета, изображение придворной жизни и умение показать ее механизмы.

<sup>39</sup> ...*был послом в Испании...* – В 1721 г. Сен-Симон был послан в Мадрид в качестве чрезвычайного посла, чтобы официально испросить руки испанской инфанты для Людовика XV.

ней мере прекрасно написанная, что уже отличает ее от тех, убийственно скучных, которые мы почитаем себя обязанными читать утром и вечером». – «Не соглашусь с вами, бывают дни, когда чтение газет кажется мне весьма приятным...» – перебила тетка Флора, желая показать, что читала в «Фигаро» о принадлежащей Сванну картине Коро, «...Когда в них говорится о людях или предметах, нас интересующих!» – добавила от себя тетка Селина. «Не стану с вами спорить, – отозвался удивленный Сванн. – Я упрекаю газеты за то, что они всякий день привлекают наше внимание к незначительным предметам, а между тем мы за всю жизнь прочитываем книги три, от силы четыре, в которых говорится о главном. Если уж мы каждое утро лихорадочно разрываем бандероль, которой заклеена газета, тогда надо бы изменить обычай и печатать в этой газете, ну, не знаю... да хотя бы „Мысли“ Паскаля! (конец фразы он произнес подчеркнуто иронически, чтобы не показаться педантом). А в толстом томе с золотым обрезом, который мы открываем раз в десять лет, не чаще, – добавил он, обнаруживая презрение к светским новостям, какое любят изображать некоторые светские люди, – пускай бы писали о том, что королева Греции<sup>40</sup> прибыла в Канны, а принцесса Леонская<sup>41</sup> давала костюмированный

---

<sup>40</sup> ...королева Греции... – Ольга Константиновна (1851–1926), племянница Николая I, вышла замуж за Георгия I, короля Греции, и была королевой с 1867 по 1913 г.

<sup>41</sup> Принцесса Леонская – титул принцев Леонских принадлежал отпрыскам знатного французского рода Роганов. С принцессой Леонской (1853–1926) был

бал. Тогда истинные пропорции будут восстановлены». Но тут же, устыдясь, что ненароком коснулся серьезных предметов, он иронически заметил: «Хороший же у нас разговор получается: с какой стати мы забрались в такие выси? – и, обернувшись к деду, продолжал: – Так вот, Сен-Симон рассказывает, что Молеврие<sup>42</sup> имел дерзость протянуть руку его сыновьям. Понимаете, это тот самый Молеврие, о котором он говорит: „В этой пузатой бутылке я всегда нахожу только вздорность, грубость и глупости“». – «Пузатые или нет, а я знаю бутылки, в которых находится кое-что другое», – поспешно вставила Флора, которой непременно хотелось тоже отблагодарить Сванна, потому что вино было прислано в подарок обеим. Селина разразилась смехом. Сбитый с толку Сванн продолжал рассказ: «Не знаю, что это было, невежество или западня, – пишет Сен-Симон, – но он захотел поздороваться с моими детьми за руку. Я вовремя заметил это и вмешался». Дед уже восхищался этим «невежеством или западней», но тут мадмуазель Селина, которой имя Сен-Симона, как-никак литератора, помешало полностью утратить способность к слуховому восприятию, вознегодовала:

---

знаком поэт и аристократ Робер де Монтескью, с которым Пруста связывали дружеские отношения; она была поэтессой, учредила литературную премию; Пруст интересовался ею и даже просил Монтескью показать ему фотографию этой дамы.

<sup>42</sup> *Жан-Батист-Луи Андро, маркиз де Молеврие-Ланжесон (1677–1754) – маршал Франции, посол в Мадриде в 1721–1723 гг., когда, по случаю бракосочетания инфанты с юным королем Франции, Людовиком XV, туда ездил сам Сен-Симон в качестве сверхштатного посланника.*

«Как?! Вы этим восторгаетесь? Ну, знаете! Хорошенькое дело! Выходит, что он не такой человек, как все прочие? Какая разница, герцог или кучер, главное – ум и сердце. Что за воспитание давал ваш Сен-Симон своим детям, если он не объяснил им, что подавать руку надо всем честным людям. Да это просто отвратительно. Как вам не совестно это цитировать?» А дед, расстроившись и чувствуя, что после такого отпора Сванна уже не уговоришь рассказывать занятные истории, вполголоса сказал маме: «Напомни-ка мне стих, которому ты меня научила, в подобные минуты он меня так утешает! Ах, да: „Вы к добродетели мне ненависть внушили!“<sup>43</sup> Прекрасные слова!»

Я не отрывал глаз от мамы, я знал, что, когда мы сядем за стол, мне не разрешат остаться до конца обеда и что на людях мама, не желая раздражать отца, не позволит мне поцеловать ее несколько раз, как у меня в комнате. И я твердо решил, что в столовой, когда начнется обед и я почувствую, что время подходит, я заранее выжму из этого поцелуя, такого короткого и беглого, все, что от меня зависит: глазами выберу место на щеке, куда целовать, соберусь с мыслями, чтобы потом, благодаря этому мысленному приуготовлению к поцелую, всю ту минутку, которую подарит мне мама, чувствовать ее щеку под моими губами; так художник, которому модель может уделить только краткие сеансы, го-

---

<sup>43</sup> «Вы к добродетели мне ненависть внушили!» – Неточная цитата из трагедии Корнеля «Смерть Помпея» (акт III, сцена IV).

товит палитру и уже написал заранее по памяти, по своим наброскам, все, для чего, на худой конец, может обойтись и без модели. Но еще и к обеду не позвонили, а дед с бессознательной жестокостью сказал: «У малыша усталый вид, пускай идет спать. Все равно мы сегодня обедаем поздно». И отец, который не так пунктуально, как бабушка и мама, соблюдал верность договорам, сказал: «А и впрямь, иди-ка ты в постель». Я хотел поцеловать маму, в этот миг прозвонили к обеду. «Нет уж, хватит, оставь маму в покое, сколько уже было таких прощаний, что за нежности, просто смешно. Пора уже, иди!» И пришлось мне уйти без последнего причастия; пришлось карабкаться на каждую ступеньку лестницы «скрепя сердце», как в народе говорят, – я поднимался, а сердце рвалось назад, к маме, потому что она меня не поцеловала, а значит, не выдала ему дозволения следовать туда же, куда и я. Ненавистная лестница, на которую я вступал всегда с таким унынием, пахла лаком, и этот запах словно впитал в себя и закрепил ту особую муку, что начиналась для меня каждый вечер, и терзал мои чувства еще невыносимее, потому что обонятельная форма страдания не допускала вмешательства разума. Когда мы спим и во сне воспринимаем зубную боль только в виде тонущей девушки, которую сто раз кряду пытаемся спасти, или строчки Мольера, которую непрерывно повторяем, какое облегчение наступает, когда мы проснемся и разум наш извлечет понятие зубной боли из-под всей этой героической или ритмической маски-

ровки. Обратное этому облегчению я испытывал, когда мука идти к себе в комнату овладевала мной – бесконечно быстро, почти мгновенно, неявно и вместе с тем внезапно, – как только я вдыхал запах лака, царивший на лестнице, а ведь запахи гораздо ядовитее мыслей. Едва я оказывался у себя в комнате, надо было заткнуть все щели, запереть ставни, вырыть собственную могилу, то есть расстелить постель, и обрядиться в саван ночной рубашки. Но прежде чем похоронить себя в железной кровати, которую внесли в комнату на лето, потому что под репсовым пологом большой кровати мне было слишком жарко, я на мгновение восстал: я решил, что попытаюсь схитрить, – то была хитрость приговоренного к казни. Я написал маме записку, в которой умолял ее подняться ко мне по важному поводу, о котором не могу написать. Я боялся, что Франсуаза, теткина кухарка, которой поручали заботы обо мне, когда я бывал в Комбре, откажется отнести записку. Я подозревал, что передать маме поручение при гостях покажется ей таким же невозможным делом, как театральному капельдинеру передать письмо актеру на сцене. Насчет того, что можно, а что нельзя, у нее был свой незыблемый, всеобъемлющий, изощренный и неуклонный кодекс, исполненный неуволимых или бессмысленных подробностей (благодаря чему этот кодекс напоминал те древние законы, которые, предписывая разные жестокости, например убивать грудных младенцев<sup>44</sup>, с преувели-



ченной щепетильностью запрещали варить козленка в молоке его матери<sup>45</sup> или употреблять в пищу бедренные жилы<sup>46</sup>). Этот кодекс, если судить по внезапному упрямству, с которым она иной раз не желала исполнять наши поручения, явно учитывал такие общественные сложности и светские тонкости, которых ничто не могло подсказать Франсуазе в ее окружении или в домашней деревенской жизни; и поневоле являлась мысль, что в ней поныне живо древнее, благородное и не очень-то освоенное французское прошлое, как живо оно в промышленных городах, где старинные особняки напоминают о придворной жизни, кипевшей здесь когда-то, а рабочие химического производства трудятся среди изящных барельефов, изображающих чудо святого Теофила<sup>47</sup> или

---

будет губить их меч, а в домах ужас – и юношу, и девушку, и грудного младенца, и покрытого сединою старца» (Второзаконие, 32: 25).

<sup>45</sup> ...варить козленка в молоке его матери ... – Аллюзия на библейский текст: «Начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа, Бога твоего. Не вари козленка в молоке матери его» (Исход, 23: 19).

<sup>46</sup> ...употреблять в пищу бедренные жилы. – Аллюзия на библейский текст: «Поэтому и доныне сыны Израилевы не едят жилы, которая на составе бедра, потому что [Боровшийся] коснулся жилы на составе бедра Иакова» (Бытие, 32: 32).

<sup>47</sup> ...чудо святого Теофила ... – Св. Теофил, собственно Феофил Покаявшийся, Адаманский, Эконом (ум. ок. 538). По преданию, продал душу дьяволу, но после раскаялся, и Дева Мария помогла ему расторгнуть договор. Его история известна по пьесе «Мираклъ о Теофиле» Рютбефа (ок. 1261), перевод которой на русский язык сделал А. Блок в 1907 г. («Действо о Теофиле»). Интересно, что во вступительном слове к своему переводу Блок тоже упоминает о барельефах: «... во многих церквах существуют лепные изображения истории, между прочим –

четырех сыновей Аймона<sup>48</sup>. Та статья ее кодекса, что имела отношение к данному случаю, статья, из-за которой вряд ли можно было надеяться, что Франсуаза побеспокоит маму при г-не Сванне ради такой незначительной персоны, как я, разве что дом загорится, просто выражала почтение, которым пользовались у нее не только мои родители – наравне с покойниками, священниками и королями, – но и посторонние, которым оказывают гостеприимство; это почтение, быть может, растрогало бы меня в книге, но в ее устах всегда раздражало из-за того важного и умильного тона, которым она об этом говорила, тем более нынче вечером, когда она, скорее всего, откажется нарушить церемонию обеда, считавшуюся у нее священной. Но чтобы привлечь удачу на свою сторону, я без колебаний решил на ложь и сказал ей, что это не я вздумал написать маме, а сама мама, расставаясь со мной, велела, чтобы я не забыл передать ей записку с ответом на ее вопрос насчет одной вещи, которую она меня просила поискать; и она непременно сильно рассердится, если ей не отнесут эту записку. Думаю, что Франсуаза мне не поверила, потому что, подобно первобытным людям, у которых

---

два барельефа на северном портале Notre Dame de Paris».

<sup>48</sup> ...*четырех сыновей Аймона*. – О вражде сыновей Аймона Дордоньского с императором Карлом Великим (XII в.) повествует поэма Доона де Майанс (Майнцского) «Четыре сына Аймона». Один из четырех сыновей, Рено, примирившись с королем, чтобы загладить свою вину, взял на себя строительство Кельнского собора. Существует русский перевод отрывка из этой поэмы, выполненный О. Мандельштамом («Сыновья Аймона», 1923).

чутье было куда сильнее нашего, она немедленно определяла по неуловимым для нас признакам любую истину, которую мы пытались от нее скрыть; она минут пять смотрела на конверт, словно осмотр бумаги и исследование почерка могли приоткрыть для нее содержание или напомнить подходящую статью ее кодекса. Потом она вышла, всем видом своим выражая смирение, что должно было означать: «Это не ребенок, а наказание для родителей!» Тут же она вернулась и сказала, что там еще едят мороженое, поэтому метрдотель не может вручить письмо у всех на глазах, но когда начнут разносить чашки с полосканием для рта, как-нибудь исхитрятся передать маме мой конверт. Мое беспокойство сразу прошло; все изменилось: теперь уже я не разлучен с мамой до завтра, как считал еще недавно; хотя мама, конечно, рассердится (причем вдвойне, потому что моя выходка оскандалит меня перед Сванном), зато вместе с запиской я сам, незримый и восхищенный, окажусь в одной комнате с мамой и шепну ей на ухо словечко; и сама эта столовая, запретная и враждебная, где всего миг тому назад даже радости от мороженого (зернистого) и полоскания словно источали яд и убийственную тоску, потому что мама вкушала их вдали от меня, – теперь эта столовая отворилась для меня, и из нее, как из перезревшего плода, сквозь лопнувшую кожицу которого брызжет мякоть, прямо в мое упоенное сердце вот-вот брызнет мамино внимание, как только она прочитает написанные мною строчки. Теперь я уже не разлучен с

нею; преграды рушатся, восхитительные узы связали нас. Но и это еще не все: мама непременно придет!

Я думал тогда, что Сванн изрядно посмеялся бы над моей тоской, доведись ему прочесть мое письмо и угадать цель этого письма; но нет, ничего подобного: позже я узнал, что и для него долгие годы была пыткой та же тоска, и может быть, он бы понял меня, как никто другой; к нему эта тоска – когда чувствуешь, что любимое существо веселится где-то в другом месте, где тебя нет и куда тебе нельзя, – пришла вместе с любовью, с любовью, которая в каком-то смысле предопределяет, присваивает себе тоску, придает ей форму; но бывает, как было со мной, что эта тоска вселяется в нас еще прежде, чем в нашей жизни явилась любовь; тогда она витает до поры, расплывчатая и свободная, ни к кому в особенности не привязана, на службе нынче у одного чувства, завтра у другого, то у сыновней нежности, то у дружбы к товарищу. И ту радость, с которой я прошел свой первый искуc, когда Франсуаза вернулась и сказала, что письмо будет доставлено, испытал, подобно мне, и Сванн – неверную радость, которую дарит вам какой-нибудь друг или родственник любимой женщины, когда, приехав в особняк или в театр, где она сейчас находится, на какой-нибудь бал, праздник или премьеру, где он ее сейчас встретит, этот друг замечает, как вы бродите снаружи и безнадежно ждете случая ее увидеть. Он узнаёт вас, окликает запросто, спрашивает, что вы тут делаете. И вы придумываете на ходу, что вам, мол, срочно надо что-

то сказать его родственнице или приятельнице, а он уверяет, что ничего не может быть проще, ведет в вестибюль и обещает, что через пять минут приведет ее к вам. До чего же вы любите – вот так я в тот миг любил Франсуазу – благонамеренного посредника: ведь стоит ему только слово сказать – и сразу становится вполне сносным, человеческим и чуть ли не уместным этот непостижимый бесовский праздник, в гуще которого, как вам мерещится, враждебные, порочные и восхитительные вихри увлекают далеко от вас любимую женщину и заставляют ее смеяться над вами! Если судить по этому подошедшему к вам родственнику, тоже приобщенному к жестоким таинствам, то и в других гостях на празднике, скорее всего, нет ничего особенно бесовского. Есть некие мучительные и недоступные часы и минуты, когда ваша любимая вкушала неведомую радость, но вот уже мы врываемся в них сквозь неожиданную лазейку; вот уже одно из мгновений, из которых они составились, приоткрывается вашему воображению, – мгновение столь же реальное, как все прочее, а для вас даже, может быть, еще более важное из-за вашей возлюбленной; вы овладеваете им, вмешиваетесь в него, чуть ли не сами его сотворяете: это то мгновение, когда ей говорят, что вы ждете внизу. И вероятно, другие мгновения праздника, в сущности, не слишком отличаются от этого, ничем его не упоительней, и незачем было так страдать, не зря же благожелательный друг сказал: «Да она с удовольствием к вам спустится! Ей гораздо приятнее будет с вами поболтать,

чем скучать наверху». Увы! Сванн изведal на опыте: благие намерения третьего лица бессильны повлиять на женщину, которая раздражается, чувствуя, что человек, которого она не любит, не оставляет ее в покое даже на празднике. И очень может быть, что ваш друг спустится вниз один.

Мама не пришла ко мне и без малейшей заботы о моем самолюбии (которому так нужно было, чтобы не разоблачили выдумки насчет поисков вещи, об исходе которых она якобы просила меня сообщить) передала мне через Франсуазу: «Ответа не будет» – и как часто с тех пор слышал я от портье в шикарных гостиницах и от вышибал в притонах те же слова, обращенные к какой-нибудь несчастной девице, которая удивлялась: «Ничего не просил сказать? Не может быть! Вы в самом деле передали мое письмо? Ладно, подожду еще». И, подобно тому как она неизменно уверяет, что ей не нужен дополнительный свет, который консьерж хочет для нее зажечь, и ждет, слыша только редкие замечания насчет погоды, которыми обмениваются консьерж с посыльным, которого он потом, внезапно спохватившись, отправляет к клиенту с напитком, так точно и я, отклонив предложение Франсуазы заварить мне травяной настой или посидеть со мной, отпустил ее к ее делам, лег и закрыл глаза, стараясь не слышать голоса родных в саду, где пили кофе. Но спустя несколько секунд я почувствовал, что, написав маме то письмо, подойдя, под угрозой ее рассердить, так близко к ней, что казалось, миг, когда я ее увижу, вот-вот наступит, стоит руку протя-

нуть, я перекрыл себе всякую возможность уснуть, пока я ее не увижу, и биение моего сердца с каждой минутой становилось все болезненнее, потому что возбуждение все возрастало по мере того, как я уговаривал себя успокоиться, что означало смириться с неудачей. Внезапно моя тревога улеглась, нахлынуло блаженство, как бывает, когда действует сильное лекарство и боль отпустит: я решил больше не пытаться уснуть, пока не увижу маму, решил поцеловать ее, чего бы это ни стоило, когда она пойдет наверх спать, хотя твердо верил, что это надолго нас с ней поссорит. Едва унялась тоска, я успокоился, и мне стало невероятно весело, а от нетерпения, жажды, чувства опасности делалось еще веселее. Я бесшумно отворил окно и уселся в ногах кровати; я почти не шевелился, чтобы снизу меня не услышали. Снаружи тоже все словно застыло в немом ожидании, чтобы не замутить лунного света, который удвоил и отодвинул назад каждый предмет, разостлав перед ним его тень, более густую и плотную, чем он сам, истончив весь пейзаж и одновременно распространив его вширь, точно разворачивая сложенную вдвое географическую карту. Шевелилось только то, что не могло иначе, например листва каштана. Но всеобъемлющая мельчайшая дрожь листвы, со всеми ее подробностями и тончайшими оттенками, не растекалась на все остальное, не смешивалась с окружающим, замыкалась в себе самой. Самые дальние звуки, брошенные на милость тишины, которая не поглощала ни единой их частицы, звуки, долетавшие, долж-

но быть, из садов в другом конце города, слышались так отчетливо, с такой «завершенностью», словно дело было не в расстоянии, а просто они звучали «пианиссимо», как мелодии под сурдинку, которые оркестр Консерватории исполняет так прекрасно, что, хотя не пропадает ни ноты, слушателю кажется, что музыка звучит далеко от концертного зала, и консерваторские завсегдатаи постарше – в том числе и бабушкины сестры, когда Сванн уступал им свои места по абонементу, – бывало, наостряли уши, словно слушая, как издали приближается маршем армия, еще не свернувшая за угол улицы Тревиз<sup>49</sup>.

Я знал, что совершаю преступление, которого родители не оставят без последствий, причем самых для меня тяжких, более тяжких, в сущности, чем предположил бы посторонний человек, потому что такие последствия мог повлечь за собой только воистину постыдный поступок. Но у тех, кто меня воспитывал, была принята не такая шкала прегрешений, как в других семьях, и мне внушали, что самое недопустимое (видимо, потому, что именно от этого меня надо было более всего отваживать) – это все то, что происходило, как я теперь понимаю, от моей нервности и порывистости. Однако этих слов не произносили, источника моих провин-

---

<sup>49</sup> ...за угол улицы Тревиз. – На углу ул. Консерватории (параллельно ул. Тревиз) и ул. Бержер была расположена до 1911 г. Парижская национальная консерватория музыки, основанная в 1784 г. В наши дни в этом здании расположена только Консерватория драматического искусства, а Консерватория музыки переехала в другую часть города.



ностей не упоминали, а то бы я, чего доброго, вообразил, что у меня есть оправдание и что даже, может быть, не в моих силах было удержаться от проступка. Но я всегда узнавал эти проступки и по тоске, им предшествовавшей, и по суровости наказания, которое за ними следовало; вот и теперь я знал, что совершенное мной преступление – из тех самых, за которые так строго карают, только еще бесконечно более тяжкое. Когда я подстерегу маму по дороге в спальню и она увидит, что я не ложился, чтобы еще раз сказать ей спокойной ночи в коридоре, меня не оставят дома, меня завтра в коллеж отдадут, это уж точно. Ну и что, пускай я потом, через пять минут, хоть из окна выброшусь – это меня ничуть не пугало. Сейчас мне нужна была мама, я хотел сказать ей спокойной ночи, я слишком далеко зашел по пути, который вел к исполнению моего желания, и не мог отступить.

Я услышал шаги родителей, провожавших Сванна; и когда колокольчик на калитке поведал мне, что он ушел, я подобрался к окну. Мама спрашивала у отца, хороши ли были лангусты и брал ли г-н Сванн добавки кофейного мороженого с фисташками. «Оно, по-моему, так себе, – сказала мама, – пожалуй, в следующий раз попробуем другой сорт». – «А как Сванн изменился, прямо слов нет, – сказала двоюродная бабушка, – совсем старик!» Двоюродная бабушка настолько привыкла вечно видеть в Сванне подростка, что удивилась, когда внезапно заметила, что он старше, чем ей представлялось. Впрочем, и родители тоже вдруг решили, что он

неестественно, чрезмерно, постыдно постарел, как стареют – и поделом – холостяки, те, чьи дни огромны, и лишены какого бы то ни было завтра, и длятся дольше, чем у прочих людей, потому что дни эти пусты и с утра обрастают мгновениями, которые не делятся у них между детьми. «Думаю, что у него хватает хлопот с его негодницей-женой: она на виду у всего Комбре живет с каким-то господином де Шарлюсом. Они тут у всех притча во языцех». Мама на это заметила, что с некоторых пор Сванн все-таки повеселел. «И реже трет себе глаза и проводит ладонью по лбу, тем самым движением, что его отец. Мне-то кажется, в глубине души он уже не любит эту женщину». – «Ну разумеется, не любит, – отозвался дед. – Я уже давно получил от него на эту тему письмо, на которое подчеркнуто никак не отозвался; это письмо не оставляло ни малейших сомнений насчет его чувств к жене, по крайней мере что касается любви. Да ладно! А вот вы так и не поблагодарили его за асти», – добавил дед, обернувшись к обеим свояченицам. – «Как не поблагодарили? Между нами, мне даже показалось, что я сумела выразить это достаточно деликатно», – возразила тетка Флора. – «Да, ты прекрасно нашла нужный тон, я тобой восхищалась», – подхватила тетка Селина. – «Но и ты тоже замечательно выразилась». – «Да, словами о милых соседях я горжусь». – «И это у вас называется поблагодарить? – возопил дед. – Я слышал, но черт меня побери, если я подумал, что это относится к Сванну. Будьте уверены, что он ничего не понял». – «Ну полно, Сванн

не дурак, я уверена, что он оценил. Не могла же я упоминать количество бутылок и сколько стоило вино!» Отец и мама остались одни и на минутку присели; потом отец сказал: «Ну что ж! Если хочешь, идем спать». — «Как скажешь, мой друг, хотя у меня сна еще ни в одном глазу. Неужели это безобидное кофейное мороженое так меня взбодрило! Между прочим, я видела свет в буфетной; бедняжка Франсуаза, как видно, меня дожидается, так что пойду и попрошу ее растегнуть мне корсаж, пока ты раздеваешься». И мама отворила решетчатую дверь вестибюля, которая вела на лестницу. Скоро я услышал, как она идет наверх закрывать окно. Я бесшумно вышел в коридор; мое сердце стучало так сильно, что мне трудно было идти, но теперь оно хотя бы билось не от тоски, а от ужаса и счастья. Я увидел в лестничной клетке отблеск маминой свечи. Потом увидел ее саму и бросился вперед. В первую секунду она посмотрела на меня удивленно, не понимая, что происходит. Потом у нее на лице отразился гнев, она даже ни слова мне не сказала, и в самом деле, за куда меньший проступок со мной не разговаривали по нескольку дней. Скажи мама хоть что-нибудь, это бы означало признание, что со мной можно разговаривать, и, кстати, мне это могло показаться еще ужаснее: значит, готовится такая суровая кара, что молчание или размолвка по сравнению с ней — детские игрушки. Это было бы все равно что слова, с которыми спокойно обращаются к прислуге, когда ее уже решено уволить, или поцелуй сыну, которого отправляют на

военную службу, хотя, обойдись дело тем, что он бы просто на денек-другой впал в немилость, ему бы в этом поцелуе отказали. Но мама услышала, что отец поднимается из гардеробной, где он раздевался, и, желая избавить меня от отцовского нагоняя, сказала мне дрожащим от ярости голосом: «Беги, беги к себе, не хватало еще, чтобы отец увидел, что ты тут караулишь как дурачок!» Но я повторял: «Зайди ко мне попроситься!» – с ужасом видя, как отблеск отцовской свечи уже поднимается по стене все выше, но и пользуясь его приближением для шантажа и надеясь, что мама испугается, как бы отец не застал меня здесь, пока она продолжает со мной спорить, и скажет: «Ступай к себе в комнату, я приду». Слишком поздно, отец уже стоял перед нами. Невольно я прошептал так, что никто не слышал: «Я пропал!»

Но ничуть не бывало. Отец постоянно отказывал мне в законных благах, предусмотренных договорами более общего характера, которые заключали со мной мама и бабушка, потому что о «принципах» он не заботился, а до «прав человека» ему не было дела. По какой-нибудь случайной причине, а то и вообще без причины, он в последний миг лишал меня уж такой привычной, такой обычной прогулки, отменить которую было сущим клятвопреступлением, или вдруг, да хоть как нынче вечером, задолго до освященного традицией часа говорил мне: «Ну-ка иди спать, и никаких разговоров!» Но именно потому, что принципы (в бабушкином понимании) у него отсутствовали, не было в нем, собственно, и неприми-

римости. Секунду он глядел на меня удивленно и недовольно, а затем, когда мама в нескольких словах смущенно объяснила, что происходит, сказал ей: «Ну так иди с ним! Ты же говорила, что тебе еще спать не хочется, вот и побудь у него в комнате: мне ничего не нужно». – «Но, друг мой, – робко возразила мама, – хочу я спать или не хочу, это ничего не меняет, нельзя же приучать ребенка...» – «Ну кто говорит приучать, – отвечал отец, пожимая плечами, – видишь, малыш расстроился, на нем же лица нет! Не палачи же мы! Да он, чего доброго, заболит по твоей милости! У него в комнате две кровати, вот и скажи Франсуазе, чтобы постелила тебе на большой кровати, и поспи сегодня у него. Ну ладно, спокойной ночи, у меня нервы покрепче, чем у вас, я иду спать».

Благодарить отца было нельзя: он приходил в ярость от того, что у него называлось «телячьими нежностями». Я стоял, не смея шелохнуться; он был еще здесь, высокий, в белой ночной рубашке, в розовом с фиолетовыми разводами индийском кашемировом платке, которым он обвязывал голову с тех пор, как у него началась невралгия, в позе Авраама, повелевающего Сарре расстаться с Исааком на гравюре с фрески Беноццо Гоццолли<sup>50</sup>, подаренной мне в свое вре-

---

<sup>50</sup> *Беноццо Гоццолли* (1420 или 1422–1497) – итальянский художник флорентийской школы; один из авторов фресок на кладбище Кампо-Санто в Пизе, погибших во время Второй мировой войны. Несколько фресок изображали эпизоды из жизни Авраама, но сцены, упоминаемой Прустом, на них не было, впрочем, и в тексте Священного Писания она тоже отсутствует. Скорее всего, сюжет при-

мя г-ном Сванном. С тех пор прошло немало лет. Та стена вдоль лестницы, по которой я следил за поднимающимся отблеском отцовской свечи, давно исчезла<sup>51</sup>. И во мне самом разрушилось многое из того, что я полагал вечным, и воздвиглось новое, породившее новые муки и новые радости, которых я не мог предвидеть тогда, а то, что было прежде, мне стало трудно понимать. И давно уже отец не может сказать маме: «Иди с малышом!» Никогда уже мне не будет дано пережить вновь эти часы. Но с некоторого времени, стоит напрячь слух, мне опять ясно слышатся рыдания, которые я тогда с трудом подавил, стоя перед отцом, – они вырвались на волю позже, когда мы остались вдвоем с мамой. На самом деле они никогда не затихали с тех пор; просто теперь жизнь вокруг меня чаще умолкает, потому я слышу их снова, как монастырские колокола, которые днем с легкостью перекрывает шум города, и кажется, что они замерли, но в вечерней тишине они вновь начинают звонить.

Эту ночь мама провела в моей комнате; в тот самый миг, когда я совершил прегрешение, за которое ждал, что меня выгонят из дому, родители даровали мне милость, которой я

---

думан Прустом для надобностей романа.

<sup>51</sup> ...давно исчезла. – Дом в Комбре, описанный Прустом, больше всего напоминает дом родителей отца писателя в Илье, ныне Илье-Комбре, дошедший до наших дней, но некоторые элементы отсылают к дому в Отейле, тогда – пригороде Парижа, принадлежавшему двоюродному деду Пруста со стороны матери, Луи Вейлю. После смерти владельца этот дом был в 1897 г. продан и снесен, когда прокладывали улицу Моцарта.

ни за что не добился бы от них в награду за похвальный поступок. Даже в тот час, когда отец проявил ко мне такое милосердие, в его обращении со мной сквозило что-то самодурское, произвольное, и, в общем, оно зависело не столько от продуманного плана, сколько от мимолетных обстоятельств. И то, что я называл его суровостью, когда он посылал меня спать, пожалуй, заслуживало этого слова даже меньше, чем поведение мамы и бабушки: ведь по натуре своей он во многом сильно отличался от меня, мы были совершенно разные, и он, вероятно, не догадывался, до какой степени я страдал каждый вечер, а мама с бабушкой это хорошо знали; но они любили меня так сильно, что не соглашались меня пощадить: им хотелось, чтобы я умел побеждать это страдание, хотелось уменьшить мою нервную возбудимость и закалить мою волю. Отец любил меня по-другому, и я не уверен, что у него хватило бы на это мужества: когда он понял, в каком я горе, он сказал маме: «Иди, утешь его». Эту ночь мама провела у меня в комнате, и когда Франсуаза, уразумев, что происходит нечто небывалое, видя, как мама сидит рядом со мной, держит меня за руку и не ругает за то, что я плачу, спросила у нее: «А что с молодым господином, мадам, отчего он так плачет?» – мама, словно не желая портить никакими угрызениями совести эти часы, так отличавшиеся от всего, на что я мог надеяться, ответила: «Да он сам не знает, Франсуаза, просто расстроился; постелите мне скорее большую кровать и идите к себе». Так впервые мою печаль сочли не провинно-

стью, достойной наказания, а неумышленной болезнью, которую признали законной; так ее сочли нервным состоянием, за которое я не отвечаю; мне даровали облегчение – не примешивать раскаяния к горечи моих слез; я мог плакать безгрешно. И я не мог не возгордиться перед Франсуазой за то, что мне вернули человеческое отношение, причем всего-то час спустя после того, как мама отказалась подняться ко мне в спальню и презрительно передала мне, что пора спать: это возвышало меня в глазах взрослых и словно доказывало, что мое горе – это горе зрелого человека, что слезы мои правомочны. Казалось бы, какое счастье, но счастья не было. Мне представлялось, что мама впервые пошла на уступку, которая была для нее, наверное, мучительна; что впервые она отреклась от того идеала, который предназначала для меня, и что впервые она, такая мужественная, признала свое поражение. Мне казалось, что победа, которую я одержал, – это победа над ней и что мне, словно болезням, или горестям, или годам, удалось ослабить ее волю, одержать верх над ее разумом, и что с этого вечера начинается другая эра, и что он останется в памяти печальной датой. Теперь, если бы я посмел, я сказал бы маме: «Не надо, я не хочу, уходи!» Но я знал, что бабушкин пламенный идеализм в маме умеряется благоразумием и здравым смыслом, реалистичностью, как сказали бы сегодня, и понимал, что теперь, когда зло уже совершилось, ей хочется, чтобы я хотя бы вкусил его умиротворяющих плодов, и совершенно не хочется беспокоить от-



ца. Конечно, в тот вечер прекрасное лицо моей матери еще блистало молодостью, когда она так нежно держала меня за руки, стараясь унять мои слезы; но мне по некоторым причинам казалось, что это все неправильно и что ее гнев опечалил бы меня меньше, чем эта внезапная мягкость, которой мое детство не знало; мне казалось, что от моей нечестивой руки исподволь пролегла первая морщина в ее душе и появился первый седой волос. От этой мысли я разрыдался еще пуще, и тут маме, никогда не позволявшей себе со мной никаких сантиментов, внезапно настолько передалось мое горе, что она и сама чуть не заплакала. Чувствуя, что я это заметил, она со смехом сказала: «Вот мой глупыш, вот дурашка, еще немножко, и мама станет такая же глупенькая, как ты. Знаешь, раз уж ты не спишь и мама не спит, давай не будем больше расстраиваться, а чем-нибудь займемся, возьмем какую-нибудь из твоих книжек». Но у меня в спальне книжек не было. «Скажи, если я достану одну из тех книжек, которые бабушка приготовила тебе на день рождения, я тебе не испорчу удовольствия? Подумай хорошенько: ты не огорчишься, если не получишь подарка послезавтра?» Напротив, я был в восторге, и мама принесла пакет с книгами, сквозь обертку мне было не угадать, что за книги, только видно, что формата они были почти квадратного, короткие, зато широкие, но даже на первый, самый поверхностный и беглый взгляд они тут же затмили коробку с красками, полученную на Новый год, и шелковичных червей, по-

даренных на прошлый день рождения. Это были «Чертова лужа», «Франсуа-найденыш», «Маленькая Фадетта» и «Волынщики»<sup>52</sup>. Потом я узнал, что бабушка поначалу выбрала стихи Мюссе, томик Руссо и «Индиану»<sup>53</sup>: она полагала, что легковесное чтение так же вредно для здоровья, как конфеты и пирожные, зато, на ее взгляд, мощное дыхание гения даже для детского ума не более опасно и не менее живительно, чем для детского тела – свежий воздух и морской ветер. Но отец, узнав, какие книги она собирается мне подарить, объявил, что она с ума сошла, и, чтобы мне не остаться совсем без подарка, пришлось ей еще раз поехать в Жуи-ле-Виконт, в книжный магазин (жара была страшная, и когда она вернулась домой, ей было так худо, что врач предупредил маму, чтобы не позволяла ей больше так переутомляться), и, смирившись, обменять эти книги на четыре сельских романа Жорж Санд. «Доченька, – сказала она маме, – у меня бы рука не поднялась подарить малышу плохо написанные книги».

В сущности, она никогда не мирилась с покупками, которые бы заодно не приносили пищу уму, особенно пищу того

---

<sup>52</sup> «Чертова лужа» (1846), «Франсуа-найденыш» (1847–1848), «Маленькая Фадетта» (1848–1849), «Волынщики» (1853) – «девевенские» романы Жорж Санд.

<sup>53</sup> «Индиана» (1832) – роман Жорж Санд, прославляющий любовь, которая превыше людских законов. Этим объясняется его упоминание рядом с томиками поэта-романтика А. де Мюссе и эмоционального Ж.-Ж. Руссо: все три книги явно выбиваются из привычного круга детского чтения.

рода, какую приносят красивые вещи, приучающие нас не к утехам комфорта или суетности, а к радостям иного порядка. Даже если ей предстояло сделать так называемый полезный подарок, например кресло, столовые приборы, трость, эти вещи она старалась найти «старинные», словно от долгого неупотребления с них опадала шелуха полезности и они предназначались не столько обслуживать нашу жизнь, сколько рассказывать нам о том, как жили люди прежде. Ей хотелось, чтобы у меня в комнате висели фотографии самых прекрасных памятников и пейзажей. Но прежде чем совершить покупку, она решала, что в механическом способе воспроизведения, то есть в фотографии, несмотря на эстетическую ценность того, что на ней изображено, чересчур силен элемент вульгарности, полезности. Она норовила считать и пускай не вытравить совершенно коммерческую банальность, так хоть заместить изрядную ее долю опять-таки искусством, ввести в картину как бы несколько «слоев» искусства: вместо фотографий Шартрского собора, фонтанов Сен-Клу, Везувия она, разузнав у Сванна, не изобразил ли их какой-нибудь великий художник, предпочитала дарить мне фоторепродукции Шартрского собора Коро, фонтаны Сен-Клу Юбера Робера<sup>54</sup>, Везувий Тернера<sup>55</sup>, что возводило фо-

---

<sup>54</sup> ...фонтаны Сен-Клу Юбера Робера... – Юбер Робер (1733–1808) – французский художник, мастер классицистического пейзажа руин; испытывал влияние Пиранези, с которым был лично знаком. Несколько раз изображал источники Сен-Клу, например в картинах «Прачки в парке», «Фонтан».

<sup>55</sup> ...Везувий Тернера... – Английский художник Уильям Тернер (1775–1853)

тографии на более высокую ступень искусства. Но хотя фотограф был отстранен от изображения шедевра или природы и замещен великим художником, он все равно вступал в свои права, воспроизводя изображение. Добившись краха вульгарности, бабушка пыталась оттеснить ее еще дальше. Она спрашивала у Сванна, нет ли гравюры с этой картины, и гравюры по возможности выбирала старинные, причем, помимо самой гравюры, ее интересовали и другие обстоятельства – например, чтобы эта гравюра воспроизводила шедевр в том виде, в каком мы его сегодня уже не увидим (как та, работы Моргена, что сделана с «Тайной вечери» Леонардо в ее первоизданном виде<sup>56</sup>). Надо сказать, что такой подход к искусству делать подарки не всегда приносил блестящие результаты. Представления о Венеции, которые внушил мне рисунок Тициана, где на заднем плане якобы виднелась лагуна, несомненно, оказались менее точными, чем если бы я увидел обыкновенные фотографии. Когда двоюродная бабушка принималась поминать бабушке все ее прегрешения, уже и не упомнить было всех кресел, которые были подарены ею юным новобрачным и старым супругам и при первой по-

---

оставил несколько акварелей с изображением вулкана Везувий.

<sup>56</sup> ...в ее первоизданном виде. – Рафаэль Морген (1761–1833) – гравер, в 1800 г. создал гравюру с «Тайной вечери» Леонардо да Винчи, фрески, которая находится в церкви Санта-Мария делле Грацие в Милане. Фреска эта с момента создания неоднократно подвергалась реставрациям, которые значительно ее изменили; гравюра Моргена, вопреки тому что мы можем заключить из романа, запечатлела ее уже после первой такой реставрации.

пытке ими воспользоваться тут же обрушивались под тяжестью того, кому был предназначен подарок. Но бабушке казалось мелочным слишком беспокоиться о прочности мебели, на которой еще сегодня проступают цветок, улыбка, какая-нибудь прекрасная выдумка минувшего. И даже то, что само удобство этих вещей несколько отличается от того, к чему мы привыкли, очаровывало ее: так в старинной манере изъясняться мы заново чувствуем метафору, в современном языке стершуюся оттого, что ее слишком часто повторяли. И как раз в деревенских романах Жорж Санд, которые бабушка подарила мне на день рождения, было полно такой старинной мебели, то есть выражений, которые, выйдя из обихода, обрели изначальную образность, а ведь в наши дни их только в деревне и встретишь. Бабушка выбрала именно эти книги, а не другие, подобно тому как выбрала бы для жилья дом с готической голубятней или с какими-нибудь старинными штучками, животворно влияющими на душу и вносящими в нее тоску по невозможным путешествиям во времени.

Мама села рядом с кроватью; она взяла «Франсуа-найденыша»<sup>57</sup>, чей рыжеватый переплет и малопонятное назва-

---

<sup>57</sup> ...она взяла «Франсуа-найденыша»... — Как отмечают исследователи, выбор этого романа не случаен. Речь в нем идет о мальчике-найденыше; он растет под покровительством мельничихи Мадлен, к которой нежно привязан. И только когда Франсуа вырастает, а Мадлен становится вдовой, оба понимают природу чувства, которое их связывало: роман кончается их свадьбой. Сближение материнской и любовной привязанности позволяет провести параллель между персонажами Ж. Санд и Пруста.

ние сообщали в моих глазах самой книжке яркую индивидуальность и таинственную притягательность. Я еще никогда не читал настоящих романов. Я слышал, что Жорж Санд – непревзойденный романист. Поэтому я уже заранее воображал, что обрету в «Франсуа-найденыше» нечто неуловимо-восхитительное. Повествовательные приемы, призванные возбудить любопытство или растрогать, известные обороты речи, навевавшие тревогу или печаль, то, с чем опытный читатель знаком по многим романам, – а я ведь видел в новой книге не вещь, одну из множества таких же вещей, а уникальное существо, которое живет своей собственной жизнью, – все это представлялось мне особым возбуждающим излучением, исходящим именно из «Франсуа-найденыша». За такими будничными событиями, такими обыкновенными вещами, такими привычными словами мне чудилась словно какая-то удивительная интонация, какое-то необычайное звучание. Сюжет развивался; он показался мне неясным, тем более что в те времена я во время чтения часто пропускал страницу за страницей, мечтая о чем-нибудь совсем другом. И к пробелам, остававшимся из-за моей рассеянности, прибавлялось то, что мама, читая мне вслух, выбрасывала все любовные сцены. Поэтому все странные перемены в отношениях между мельничихой и ребенком, объяснявшиеся только развитием нарождавшейся любви, были для меня проникнуты глубокой тайной, источником которой, как я с готовностью вообразил, было это незнакомое и

сладостное прозвище, «Найденыш», – уж не знаю почему, оно бросало на ребенка, его носившего, живой, алый и обольстительный отблеск. Мама, возможно не самая надежная чтица, все же бывала чтицей превосходной, если угадывала в книге истинное чувство: текст она произносила бережно и просто, голос звучал красиво и нежно. Даже в жизни, когда ее умиление или восхищение возбуждали не произведения искусства, а люди, трогательно было замечать, как она уважительно изгоняла из своего голоса, поведения, разговора то вспышку веселья, которая могла бы задеть собеседницу, потерявшую когда-то ребенка, то напоминание о празднике, годовщине, которое могло бы напомнить старику о его преклонных годах, то хозяйственное замечание, которое могло бы показаться докучным молодому ученому. Точно так же, читая прозу Жорж Санд, всегда дышащую этой добротой, этой нравственной безупречностью, которые мама, вслед за бабушкой, была приучена считать главным в жизни (и лишь потом, гораздо позже, уже от меня узнала, что в книгах не это самое главное), она стремилась изгнать из голоса любое жеманство, любой наигрыш, чтобы они не потеснили чувства, она вкладывала в эти фразы всю свою природную нежность, всю неисчерпаемую доброту, к которой они зывали, написанные словно нарочно для ее голоса и, так сказать, целиком укладывавшиеся в регистр ее чуткости. Стараясь попасть в верный тон, она заранее находила сердечную интонацию, которая их продиктовала, пускай и не была закреп-

лена в словах; благодаря этой интонации она походя смягчала грубость глагольных времен, придавала несовершенному и совершенному виду оттенок кроткой доброты, печальной нежности, подводила кончавшееся предложение к тому, которое вот-вот должно было начаться, то ускоряя, то замедляя течение слогов, чтобы подчинить их, сколько бы их ни оказалось, единому ритму; в эту прозу, такую обыкновенную, она вдыхала жизнь, исполненную постоянного чувства.

Совість моя успокоилась, я отдался на милость этой ночи, одарившей меня маминым присутствием. Я знал, что такая ночь не может повториться, что самое огромное в моей жизни желание – чтобы мама была со мной у меня комнате в печальные ночные часы – слишком противоречило житейским нуждам и желаниям других людей, и сегодняшнее его исполнение так и останется исключительным событием, нарушающим естественный ход вещей. Завтра тоска вернется, а мама уже со мной не останется. Но когда моя тоска унималась, я переставал ее замечать; и потом, завтрашний вечер был еще далеко; я говорил себе, что у меня еще будет время подумать, хотя это время ничем не могло мне помочь, поскольку дело было в чем-то таком, что не зависело от моей воли и казалось поправимым только потому, что еще отстояло от меня на какой-то промежуток.

Вот так долгое время, просыпаясь ночью и опять вспоминая Комбре, я видел всегда только яркое пятно, осветив-



шея посреди расплывчатых сумерек, как будто часть здания, выхваченная бенгальским огнем или электрическим лучом из окружающей темноты, в которой тонуло все остальное: основанием, довольно широким, оказывались малая гостиная, столовая, начало темной аллеи, по которой приходил г-н Сванн, ни о чем не подозревавший виновник моих печалей, и вестибюль, приводивший меня к первой ступеньке лестницы, по которой было так мучительно подниматься; лестница служила единственной, очень узкой, боковой гранью этой усеченной неправильной пирамиды, а наверху располагались моя спальня и маленький коридорчик с застекленной дверью, через которую входит мама; это была декорация, видимая всегда в один и тот же час, отделенная от всего, что вокруг, одна выступающая из темноты, строго необходимая (как та, которую указывают в начале старых пьес для представлений в провинции) в драме моего раздевания; словно Комбре существовал только в виде двух этажей, соединенных тоненькой лестницей, и там всегда было семь часов вечера. По правде сказать, если бы меня спросили, я бы ответил, что это еще не весь Комбре и время дня там бывало и другое. Но мое воспоминание обо всем этом вернулось бы только сознательным усилием памяти, умственной памяти, а в тех сведениях о прошлом, какие возможно добыть благодаря такому усилию, ничего не оставалось от самого этого прошлого, так что мне бы и не захотелось никогда мечтать о том Комбре. На самом деле все это для меня умерло.

Навсегда умерло? Возможно.

Во всем этом много случайного, и вторая случайность, случайность нашей смерти, часто настигает нас прежде, чем мы успеем насладиться благами первой.

Мне кажется весьма разумным кельтское поверье, будто души тех, кого мы потеряли, пребывают в плену, заключенные в некоем низшем существе, в животном, растении, неодушевленном предмете, и на самом деле они для нас утрачены вплоть до того дня, который для многих так никогда и не наступает, дня, когда мы вдруг пройдем мимо того дерева, вступим в обладание тем предметом, в котором они томятся. Тогда они вздрогнут, позовут нас, и, как только мы их узнаем, чары рассеются. Освобожденные нами, они победили смерть, и возвращаются к нам, и живут дальше.

То же самое с нашим прошлым. Пытаться его вернуть — напрасный труд, все усилия нашего разума бесполезны. Оно прячется не в его владениях и вне его досягаемости, а в какой-нибудь вещи (и ощущении, которое вызовет у нас эта вещь), о которой мы меньше всего думаем. И только случай распоряжается тем, встретится ли нам эта вещь или так и не встретится до самой смерти.

Уже много лет прошло с тех пор, как все, что было в Комбре, перестало для меня существовать, кроме драмы отхода ко сну и ее подмоштков, как вдруг однажды зимним днем я вернулся домой и мама, видя, что я замерз, предложила мне, против обыкновения, попить чаю. Сперва я отказался, а по-

том, не знаю почему, передумал. Она послала за теми коротенькими и пухлыми печеньицами, их еще называют «мадленками», которые словно выпечены в волнистой створке морского гребешка. И, удрученный хмурым утром и мыслью о том, что завтра предстоит еще один унылый день, я машинально поднес к губам ложечку чаю, в котором размочил кусок мадленки. Но в тот самый миг, когда глоток чаю впере-мешку с крошками печенья достиг моего нёба, я вздрогнул и почувствовал, что со мной творится что-то необычное. На меня снизошло восхитительное наслаждение, само по себе совершенно беспричинное. Тут же превратности жизни сделались мне безразличны, ее горести безобидны, ее быстротечность иллюзорна – так бывает от любви, – и в меня хлынула драгоценная субстанция; или, вернее сказать, она не вошла в меня, а стала мною. Я уже не чувствовал себя ничтожным, ограниченным, смертным. Откуда взялась во мне эта безмерная радость? Я чувствовал, что она связана со вкусом чая и печенья, но бесконечно шире, и что природа ее, должно быть, иная. Откуда она? Что означает? Как ее задержать? Я отпиваю второй глоток, и он не приносит мне ничего нового по сравнению с первым, отпиваю третий, и он дает чуть меньше, чем второй. Пора остановиться, похоже, что сила напитка убывает. Ясно, что истина, которую я ищу, не в нем, а во мне. Он ее разбудил, но ничего в ней не понимает и только может повторять до бесконечности, все с меньшей уверенностью, одно и то же свое свидетельство, которое я

не умею истолковать, а мне бы выманить это свидетельство еще хотя бы раз, в первозданном виде, заполучить его в свое распоряжение, чтобы окончательно разобраться. Отставляю чашку и обращаюсь к разуму. Искать истину надлежит ему. Но как? Тяжкая неуверенность: разум то и дело сознает, что выходит за пределы себя, сознает, что он, разведчик, сам и есть та неведомая страна, которую ему надлежит разведывать и в которой все его снаряжение ни на что не годится. Разведывать? Нет, еще и творить. Он столкнулся с чем-то, чего еще нет и что только он один может создать, а потом осветить собственным светом.

И вновь я начинаю гадать, что это за незнакомое состояние, которое никак не поддается логическому истолкованию, хотя явно сопряжено с таким блаженством и настолько реально, что все остальное меркнет рядом с ним. Я хочу попытаться его вернуть. Мысленно отступаю назад, в тот миг, когда выпил первую ложечку чая. Возвращаюсь в то же самое состояние, но ничего нового не проясняется. Прошу разум совершить еще одно усилие, еще раз вернуть мне ускользающее ощущение. И чтобы ничто его не отвлекло, устраняю все препятствия, все посторонние мысли, защищаю свои уши и внимание от всех звуков из соседней комнаты. Но чувствую, как мой разум устает, ничего не достигая, и тогда я принуждаю его, наоборот, отвлечься – хотя раньше его от этого удерживал, – подумать о другом, встряхнуться перед решительной попыткой. Потом во второй раз создаю вокруг него пу-

стоту, вновь предлагаю ему совсем еще недавний вкус первого глотка и чувствую, как что-то во мне вздрагивает и сдвигается с места, стремится всплыть на поверхность, словно где-то там, на большой глубине, высвободили якорь; не знаю, что это, но оно медленно поднимается; я чувствую сопротивление и слышу гул преодолеваемого пространства.

Конечно, то, что там бьется внутри меня, – скорее всего, образ, зрительное воспоминание, которое связано с этим вкусом и пытается пробиться ко мне вслед за ним. Но борьба идет слишком далеко, ничего не разобрать; я насилу могу разглядеть бледное отражение, в котором расплывается неуловимый водоворот колышущихся красок; но я не различаю форм, не могу попросить у этого образа, словно у единственно возможного переводчика, чтобы он растолковал мне свидетельство своего современника, своего неразлучного спутника, вкуса, не могу попросить у него, чтобы он сказал, о каком именно обстоятельстве, о какой минувшей эпохе идет речь.

Явившись из невообразимой дали, сила притяженья, скрытая в другом, похожем событии, требует, будоражит, поднимает со дна моей души это воспоминание, изначальное событие, но пробьется ли оно на свет, на поверхность моего сознания? Не знаю. Теперь я уже ничего не чувствую, оно замерло, а может, опять опустилось на дно; кто знает, всплывет ли оно еще когда-нибудь из темноты? Мне пришлось раз десять начинать сначала, наклоняться над ним. И всякий раз

трусость, которая подбивает нас увильнуть от любой сложной задачи, от любого важного труда, советовала мне оставить эту затею, пить себе свой чай и думать просто о сегодняшних неприятностях, о завтрашних заботах, словом, не утруждая себя, пустить мысли блуждать по кругу.

И вдруг воспоминание воскресло. Такой вкус был у кусочка мадленки, которым по воскресным утрам в Комбре (потому что в этот день до обедни я сидел дома) угощала меня тетя Леони, когда я приходил к ней в спальню поздороваться, причем сначала она макала его в свой чай или липовый отвар. При виде мадленки я ничего не вспомнил, пока ее не попробовал; и впрямь, я же не ел мадленок с тех самых пор, хотя часто видел их на полках в кондитерских, и потому их образ отделился у меня от дней, проведенных в Комбре, и связался с другими, более недавними; и впрямь, из тех давних воспоминаний, давно заброшенных и выпавших из памяти, ничего не уцелело, все рассыпалось; и наверно, потому все вообще формы – в том числе и форма маленькой сдобной ракушки, такой чувственно-пухлой в своих строгих и благочестивых оборках, – или совсем распались, или, впад в дремоту, уже не в силах были ожить и проникнуть в сознание. Но когда после смерти людей, после разрушения вещей ничего не остается из минувшего, – тогда одни только запах и вкус, более хрупкие, но и более живучие, менее вещественные, более стойкие, более верные, еще долго, как души, живут в развалинах всего остального и напоминают о себе,

ждут, надеются и неутомимо несут в своих почти неосягаемых капельках огромную конструкцию воспоминанья.

И как только я узнал вкус пропитанного липовым чаем кусочка печенья, которым угощала меня тетя (хоть и не понял тогда и только намного позже сумел разобраться, почему это воспоминание наполняло меня таким счастьем), сразу же выходявший на улицу старый серый дом, где была ее спальня, театральной декорацией пристроился к флигельку, возведенному для родителей во дворе (это и было то самое выхваченное из темноты пятно – единственное, что я до сих пор помнил); а вместе с домом и город, во всякое время с утра и до вечера и в любую погоду, и Площадь, куда меня выпускали до завтрака, улицы, по которым я шагал с поручениями, дороги, по которым ходили гулять, когда было тепло. И как в той игре, которой забавляют себя японцы, окуная в фарфоровый сосуд с водой комочки бумаги, поначалу бесформенные, которые, едва намкнув, расправляются, обретают очертания, окрашиваются, становятся разными, превращаются в цветы, в домики, в объемных узнаваемых человечков, – так теперь все цветы из нашего сада и из парка г-на Сванна, и белые кувшинки на Вивонне<sup>58</sup>, и добрые люди

---

<sup>58</sup> ...*белые кувшинки на Вивонне*... – Название речки – Вивонна – не совсем вымышленное; по-видимому, его происхождение географически-литературное. Такой реки во Франции нет, зато есть городок Вивонн, расположенный на слиянии трех рек – Клен, Пале и Вона. Последний отпрыск по мужской линии угаснувшего рода Вивоннов, сеньоров городка, был отцом Катрин Вивонн, в замужестве маркизы де Рамбуйе (1588–1669), хозяйки литературного салона, оказав-

в деревне, и их скромные жилища, и церковь, и весь Комбре с его окрестностями – все это обрело форму и плотность, и все – город и сады – вышло из моей чашки с чаем.



## II

Комбре издали, за десять лье, возникал в окне поезда, когда мы подъезжали к нему на последней неделе перед Пасхой, и поначалу весь целиком сводился к церкви, которая его представляла, вещала о нем и от его имени далям, а когда подъедешь поближе, делалось видно, как к подолу ее уходящей ввысь темной накидки, в чистом поле, сгрудившись на ветру, будто овцы вокруг пастушки, жмутся ворсистые серые спины домов, тут и там окруженные остатками идеально круглой средневековой крепостной стены, точь-в-точь городок со старинной картинки. Сам Комбре выглядел не слишком жизнерадостно, потому что его улицы, застроенные домами из темно-серого местного камня, – причем к каждому дому вели каменные ступени, и каждый был увенчан островерхой крышей, бросавшей густую тень на пространство перед фасадом, – эти улицы были темноваты, и, едва день начинал клониться к вечеру, в «залах» приходилось поднимать шторы; и те из них, что носили строгие имена святых (связанных подчас с историей первых сеньоров Комбре), – улица Св. Илария, улица Св. Иакова, где стоял дом моей тетки, улица Св. Хильдегарды, вдоль которой тянулась решетка сада, и улица Святого Духа, на которую выходила садовая калитка, – эти улочки Комбре существовали в таком дальнем уголке моей памяти, окрашенном для меня настолько

по-другому, чем теперешний мир, что на самом деле и все они, и церковь, возвышавшаяся над ними на Площади, представляются мне еще менее настоящими, чем картинки волшебного фонаря; и в иные минуты мне кажется, что вновь перейти улицу Св. Илария, снять комнату на Птичьей улице, в старой гостинице «Пронзенная птица», из подвальных окон которой тек запах стряпни, до сих пор иногда пульсирующий во мне теплыми толчками, – это было бы все равно что вступить в контакт с потусторонним миром, куда более сверхъестественный, чем, к примеру, если бы вам удалось познакомиться с Голо и поболтать с Женевьевой Бранбантской.

Кузина деда, моя двоюродная бабушка, владелица дома, где мы гостили, приходилась матерью той самой тете Леони, которая после смерти мужа, дяди Октава, не пожелала покидать сначала Комбре, потом в Комбре – свой дом, потом комнату, потом постель и больше не «сходила вниз», вечно прячась в зыбкой стихии горя, телесной немощи, хвори, навязчивых идей и набожности. Ее комнаты были обращены на улицу Св. Иакова, которая где-то там, дальше, упиралась в Большой луг (ничего общего с Малым лугом, зеленеющим в центре города, там, где сходились вместе три улочки): однообразная, серая эта улица, где почти к каждой двери вели три высокие ступени, сложенные из песчаника, казалась ущельем, которое прорубил ваятель готических статуй прямо в камне, чтобы вырезать ясли или распятие. В сущности,

тетя жила уже только в двух смежных комнатах, после обеда переходя из одной в другую, пока соседнюю проветривали. Такие провинциальные комнаты сродни тем краям, где целые массы воздуха или морской воды светятся или благоухают мириадами невидимых нам простейших: они околдовывают нас множеством запахов, излучаемых добродетелью, благоразумием, привычками, всей этой потаенной, невидимой жизнью, насыщенной и нравоучительной, и все это словно нагнетается в атмосфере; эти запахи еще, конечно, природные и погодные, подобно запахам ближних полей, но уже одомашненные, очеловеченные и настоянные внутри жилья, изысканное прозрачное желе, произведение искусства, созданное из всех плодов, поспевших за год и перебравшихся из сада в буфет; каждый из своего времени года, но всегда сподручные и домашние, умеряющие кислинку чистого желе мягкостью теплого хлеба, запахи досужие и дотошные, как деревенские башенные часы, запахи праздношатающиеся и степенные, беспечные и осмотрительные, бельевые, утренние, набожные, упоенные блаженным покоем, от которого на душе становится только тревожнее, и в то же время прозаичностью, которая служит великим источником поэзии для того, кто окунается в эту жизнь, но не живет ею. Воздух там был насыщен настоем такой питательной, такой лакомой тишины, что я всегда входил в нее словно облизываясь, особенно в те первые еще холодные утра пасхальной недели, когда я наслаждался этим воздухом острее, потому что приехал в

Комбре совсем недавно: перед тем как войти поздороваться с тетей, приходилось немного подождать в первой комнате, куда солнце, еще зимнее, заглядывало погреться у огня, уже разведенного между двух кирпичей и заливавшего всю комнату вязким запахом сажи, намекавшим не то на переднюю стенку огромной деревенской печи, не то на колпак над камином в замке, рядом с которыми хочется, чтобы снаружи был дождь, снег, даже какое-нибудь бедствие вроде потопа, чтобы к уюту затворничества добавлялась поэзия ненастья; я проходил несколько шагов от молитвенной скамеечки до кресел, обтянутых переливчатым бархатом, с неизменно наброшенным на них кружевным подголовником; и огонь пропекал аппетитные запахи, комочками теснившиеся в комнатном воздухе: сырая, солнечная утренняя прохлада уже замесила это тесто, оно уже взошло, и вот теперь огонь его прослаивал, подрумянивал, морщил, вздувал, превращая в невидимое и осязаемое провинциальное пирожное, огромное пирожное-слойку; и, едва отведав более пряных, более тонких, всем известных, но и более черствых ароматов чулана, комода, узорных обоев, я всегда с тайным вожделением опять и опять увязал в усредненном, липком, душном, неудобоваримом и фруктовом запахе цветастого покрывала.

Я слышал, как тетя в соседней комнате вполголоса говорит сама с собой. Она всегда разговаривала довольно тихо, полагая, что в голове у нее что-то надорвалось, и едва держится, и от громкого разговора может сдвинуться с места, но

даже наедине с собой она то и дело что-нибудь произносила, веря, что это полезно для горла, чтобы кровь не застаивалась, поскольку от застоя крови у нее учащались удушье и приступы страха; кроме того, совершенно ничем не занятая, она придавала малейшим своим ощущениям огромную важность; ей казалось, что они все время меняются, и ей трудно было хранить эти перемены про себя, так что за неимением наперсника, с которым можно было бы поделиться, она общалась о них самой себе в вечном монологе, который был ее единственным занятием. К сожалению, привыкнув думать вслух, она не всегда заботилась, есть ли кто-нибудь в соседней комнате, и я часто слышал, как она говорила себе: «Не забыть бы, что я не спала» (важнейшим ее притязанием было то, что она никогда не спит, и все мы уважали и постоянно учитывали это в разговорах: утром Франсуаза не «будила» ее, а «приходила» к ней; когда тете хотелось вздремнуть днем, говорили, что ей хочется «подумать» или «отдохнуть»; а когда ей случалось посреди болтовни уж вовсе забыться и у нее вырывалось: «это меня разбудило» или «мне приснилось», — она краснела и поскорее исправляла оплошность.

Мгновение спустя я входил поцеловать ее; Франсуаза тем временем заваривала чай; а если тетя чувствовала беспокойство, она просила, чтобы ей заварили травяной отвар, и мне поручалось отмерить из аптекарского пакетика на тарелочку липовый цвет, который потом надо было бросить в кипящую воду. Высохшие стебельки закручивались в причуд-

ливую сетку, в завитушках которой проглядывали бледные цветки, словно какой-нибудь художник постарался расположить их поживописнее. Листики, уже сами на себя непохожие, напоминали все что угодно: то прозрачное мушиное крылышко, то белую оборотную сторону ярлычка, то розовый лепесток; одни успели раскрыться, другие тесно переплелись между собой, – они громоздились горкой и были похожи на материал, из которого сейчас будут вить гнездо. Множество мелких ненужных подробностей, которые были бы уничтожены промышленным изготовлением – чарующая расточительность аптекаря – радовали меня, словно книга, в которой с восторгом обнаруживаешь имя знакомого, и понятно было, что это вправду стебельки настоящих лип, точно таких, как на Вокзальной улице, неузнаваемые именно потому, что это не копии, а они сами, и потому, что состарились. И все новые черты оказывались лишь метаморфозами прежних: в маленьких серых шариках я узнавал зеленые недозревшие бутоны; но главное – розовый блеск, прозрачный, нежный, помогавший углядеть цветы в хрупком лесу стебельков, на которых они были подвешены подобно маленьким золотым розам – вроде свечения, еще заметного на каменной кладке на месте стершейся фрески, по которому еще можно отличить те части нарисованного дерева, которые были «цветными», от монохромных, – розовый блеск показывал мне, что именно эти лепестки до того, как расцвести аптекарский пакетик, наполняли благоуханием весенние ве-

вчера. Они еще хранили свой цвет, розовый, как пламя церковной свечи, но уже наполовину угасший и чуть теплящийся в этой их нынешней приглушенной жизни, в этих цветочных сумерках. Еще немного, и вот уже тетя макала мадленку в свой любимый обжигаяще горячий настой, хранивший вкус мертвых листьев и увядших цветов, и, как только печенье размокнет, протягивала кусочек мне.

Рядом с ее кроватью стоял большой желтый комод лимонного дерева и столик, служивший чем-то вроде аптеки и вместе с тем алтаря, где под статуэтку Богородицы и бутылку воды «Виши-Селестен» были подложены молитвенники и рецепты, все, что нужно, чтобы, лежа в постели, аккуратно исполнять религиозные и врачебные предписания, не забывать, когда вечерня, когда принять пепсин. По другую сторону кровати тянулось окно, перед тетиными глазами раскрывалась улица, и она тешила себя тем, что, наподобие персидских царей<sup>59</sup>, читала по ней с утра до вечера повседневную, но уходящую корнями в глубокую древность хронику Комбре, которую потом обсуждала с Франсуазой.

И пяти минут не проходило, как тетя отсылала меня, опасаясь, как бы я ее не утомил. Она подставляла моим губам свой печальный лоб, бледный и увядший, на который в этот ранний утренний час она еще не успевала начесать наклад-

---

<sup>59</sup> ...наподобие персидских царей... – Аллюзия на библейский текст: «В ту ночь Господь отнял сон от царя, и он велел принести памятную книгу дневных записей; и читали их пред царем» (Есфирь, 6: 1).

ные волосы, и проволочные ребра каркаса просвечивали, как острия тернового венца или бусинки четок, – и говорила мне: «Ладно, детка, ступай собирайся к обедне; а если внизу увидишь Франсуазу, скажи ей, хватит, мол, там с вами прохладаться, пускай идет скорее наверх, поглядит, не нужно ли мне чего».

В самом деле, Франсуаза, которая годами была у нее в услужении и тогда еще не догадывалась, что однажды перейдет к нам, несколько пренебрегала тетей в те месяцы, когда мы гостили. В моем детстве было время, когда мы еще не ездили в Комбре, а тетя Леони проводила зимы в Париже у своей матери; тогда я совсем плохо знал Франсуазу, поэтому первого января, собираясь со мной в комнату к двоюродной бабушке, мама вкладывала мне в руку пятифранковик и говорила: «Главное, не перепутай. Не давай монетку, пока я не скажу: „Здравствуйте, Франсуаза!“ – и не трону тебя за плечо». Едва мы вступали в темную тетину прихожую, как в полумраке, под гофрированными складками ослепительно-го, жесткого и хрупкого, словно из сахарной канители, чепца, замечали разбегающиеся лучики улыбки, предвосхищавшей благодарность. Это и была Франсуаза – она неподвижно стояла в раме дверки, ведущей в коридор, словно статуя святой в нише. Когда глаза мои немного привыкали к этому церковному сумраку, я читал на ее лице бескорыстную любовь к человечеству и умиленное почтение к высшим классам, которые возбуждала в благороднейших уголках ее серд-



ца надежда на новогодний подарок. Мама яростно щипала меня за плечо и громко говорила: «Здравствуйте, Франсуаза!» По этому сигналу пальцы мои разжимались и я выпускал монету, которую принимала ее нерешительная, но все же протянутая рука. Но с тех пор как мы стали ездить в Комбре, Франсуазу я узнал лучше, чем всех остальных, мы были ее любимчики, она питала к нам, по крайней мере в первые годы, такое же уважение, как к тете, но любила нас крепче: мало того что мы имели честь принадлежать к семье (а к незримым узам, через которые одна и та же кровь протекает по жилам всех членов семьи, она питала не меньшее почтение, чем автор древнегреческих трагедий), но нам прибавляло очарования и то, что мы для нее не были привычными хозяевами. И до чего радостно встречала она нас, когда мы приезжали накануне Пасхи, как сокрушалась, что погода испортилась, – потому что в этот день часто дул ледяной ветер, – пока мама расспрашивала ее о ее дочке и двух племянниках, и слушается ли внук, и чему его будут учить, и похож ли он на свою бабушку.

А когда они оставались одни, мама, зная, что Франсуаза до сих пор оплакивает своих родителей, умерших много лет назад, ласково о них заговаривала, в мельчайших подробностях расспрашивала об их жизни.

Она догадалась, что Франсуаза не любит зятя и что он отравляет ей радость встреч с дочерью, с которой при нем она не обо всем может поговорить. И вот, когда Франсуа-

за отправлялась к ним в гости за несколько лье от Комбре, мама с улыбкой говорила: «Не правда ли, Франсуаза, если Жюльену придется уехать по делам и вы на целый день останетесь вдвоем с Маргаритой, вы как-нибудь примиритесь с этой неприятностью?» А Франсуаза со смехом отвечала: «Мадам у нас все знает, мадам у нас вострее рентгена, – («рентген» она выговаривала с видимым усилием и посмеиваясь над собой, что вот, мол, она, неученая, произносит такое умное слово), – который привозили к госпоже Октав, а тот рентген видит ваше сердце насквозь<sup>60</sup>» – и тут же исчезала, стесняясь того, что ею занимаются, и, может быть, не желая, чтобы видели, как она плачет; мама первая дала ей это сладостное чувство – сознавать, что ее жизнь, ее простецкие радости и горести могут интересовать другого человека, радовать или печалить кого-то, кроме нее. Тетя смирилась с тем, что Франсуаза уже не принадлежит ей всецело во время наших наездов: она знала, как мама ценит помощь этой умной и расторопной служанки, которая и в пять утра на кухне, в чепце с ослепительными и тугими, будто фарфоровыми, складками, была так пригожа, словно собралась к воскресной обедне, которая все делала хорошо, больная ли,

---

<sup>60</sup> ...*рентген видит ваше сердце насквозь*... – В. К. Рентген (1845–1923) открыл неизвестный ранее тип электромагнитного излучения в 1895 г.; при исследовании сердца рентгеновские лучи стали применять во Франции после 1914 г., что и дает Франсуазе повод для метафоры. Можно было бы сказать, что это ее словцо – анахронизм, но время в романе Пруста весьма условно и не расчислено по календарю.

здоровая ли – работала как лошадь, но бесшумно, с таким видом, словно ничего особенного не делает, – единственная из тетиных служанок, которая, если мама просила горячей воды или кофе, приносила их по-настоящему горячими; она была из тех слуг, что с первого взгляда меньше всех в доме нравятся постороннему, может быть, потому, что не дают себе труда его очаровать и не проявляют услужливости, прекрасно понимая, что гость им совершенно не нужен, что хозяева скорее перестанут его приглашать, чем откажутся от них; но зато именно этими слугами больше всего дорожат хозяева, зная, на что они на самом деле способны, и не заботясь о легкомысленных прикрасах, об угодливой болтовне, какая производит благоприятное впечатление на гостя, но часто прикрывает неисправимую никчемность. Когда Франсуаза, проследив за тем, чтобы у родителей было все, что им нужно, в первый раз поднималась к тете, давала ей пепсин и спрашивала, что подать на завтрак, сплошь и рядом ей сразу приходилось высказывать свое мнение или давать объяснения насчет какого-нибудь важного события.

– Франсуаза, представьте себе, госпожа Гупиль зашла за сестрой на добрых четверть часа позже; еще хоть чуть-чуть замешкается по дороге и, того и гляди, опоздает к возношению даров.

– Да уж конечно, с нее станется, – отвечала Франсуаза.

– Франсуаза, приди вы на пять минут раньше, вы бы видели, как госпожа Эмбер несла спаржу вдвое толще той, что

у мамыши Калло; разузнайте-ка у ее прислуги, где она ее достала. Вы-то в нынешнем году кладете спаржу во все подливки, вот и купили бы такую же для наших путешественников.

— Может, спаржа была от господина кюре, с них станется, — говорила Франсуаза.

— Бог с вами, Франсуаза, — отвечала тетя, пожимая плечами, — ну при чем тут господин кюре? Сами знаете, что спаржа у него растет противная, маленькая, никудышная. А та, говорю вам, была толщиной с руку. Не с вашу, конечно, а с мою несчастную руку, которая за этот год опять так исхудала... Франсуаза, слышали этот трезвон, от которого у меня голова чуть не лопнула?

— Нет, госпожа Октав.

— Ах, милочка, видно, голова у вас крепкая, слава господу. Это Магелонша приходила за доктором Пипро. Он тут же вышел вместе с ней, и они свернули на Птичью улицу. Там небось ребенок заболел.

— Ох ты господи, — вздыхала Франсуаза: стоило ей услышать о несчастье, приключившемся с кем-нибудь незнакомым, пускай даже в отдаленной части земли, как она тут же начинала причитать.

— Франсуаза, а по ком это звонил колокол? Ах боже мой, это, наверно, по госпоже Руссо. Как это я забыла, что она скончалась прошлой ночью. Да, пора уже Господу призвать меня к себе, я просто не понимаю, что у меня с головой творится с тех пор, как не стало бедняжки Октава. Но вы тут

теряете со мной время, голубушка.

– Нет-нет, госпожа Октав, мое время недорого стоит: оно нам от Создателя даром досталось. Я только пойду взгляну, как бы огонь не потух.

Так Франсуаза с моей тетей вместе оценивали на этом утреннем заседании первые события дня. Но подчас эти события выступали в особенно таинственном и важном обличье, и тетя чувствовала, что не в силах дожидаться, когда Франсуаза к ней поднимется, и по дому разносились четыре грозных звонка.

– Послушайте, госпожа Октав, принимать пепсин еще рано, – говорила Франсуаза. – Или у вас слабость?

– Да нет, Франсуаза, – говорила тетя, – вернее, да, конечно, вы же знаете, что я теперь в редкие минуты не чувствую слабости; рано или поздно я умру, как госпожа Руссо, и даже понять не успею, что происходит, но я вам не потому звонила. Поверите ли, я только что видела, как вот вас вижу, госпожу Гупиль с какой-то незнакомой девочкой. Сходите-ка к Камю, купите соли на два су. Я удивлюсь, если Теодор не скажет вам, что за девочка.

– Да это дочка господина Пюпена, – говорила Франсуаза, которой проще было дать немедленное разъяснение, поскольку с утра она уже побывала у Камю дважды.

– Дочка господина Пюпена? Да что вы говорите, Франсуаза, голубушка! Ни за что бы ее не узнала!

– А я и не говорю, что это старшая, госпожа Октав, я имею

в виду девчонку, ту, которая в Жуи в пансионе. Сдается мне, что нынче утром я ее уже видела.

— Ну разве что так, — говорила тетя. — Поди, на праздники приехала! Ну конечно! Тут и думать нечего, она же должна была приехать на праздники. Но тогда почему мы не видели госпожу Сазра, когда она звонила в дверь к своей сестре перед завтраком? А, ясно. Я видела парнишку от Галопена с тортом! Помяните мое слово, торт был для госпожи Гупиль.

— Если только у госпожи Гупиль гости, госпожа Октав, вы очень скоро увидите, как все потянутся домой, потому что время уже не очень-то раннее, — говорила Франсуаза, которая спешила вниз, чтобы заняться завтраком, но не прочь была оставить тете надежду на такое развлечение.

— Ну, это не раньше полудня, — отвечала тетя покорным тоном, украдкой устремляя тревожный взгляд на стенные часы: ей не хотелось, чтобы люди видели, что она, затворница, испытала такую пылкую радость, узнав, что у г-жи Гупиль гости, и горюет оттого, что придется ждать еще больше часа. — Вдобавок это совпадет с моим завтраком! — добавила она вполголоса, обращаясь сама к себе. Собственный завтрак был для нее достаточным развлечением, и ей не хотелось, чтобы оно совпало с другим. — Вы хоть не забудете подать мне омлет в мелкой тарелке? — В доме только эти мелкие тарелки были с картинками, и тетя всякий раз забавлялась тем, что читала надписи на той из них, в которой ей подавали кушанье. Она надевала очки и разбирала: Али-Баба

и сорок разбойников, Аладдин и волшебная лампа<sup>61</sup>, и, улыбаясь, приговаривала: «Прекрасно, прекрасно».

– Я бы сходила к Камю... – говорила Франсуаза, видя, что тетя ее больше туда не пошлет.

– Нет-нет, уже не надо, это и впрямь мадмуазель Пюпен. Франсуаза, голубушка, мне жаль, что я зря заставила вас подниматься наверх.

Но тетя знала, что не зря она звонила Франсуазе, потому что в Комбре особа, «которую никто не знает», существо такое же неправдоподобное, как какой-нибудь мифологический бог, но на самом-то деле никто и не упомянет, чтобы на улице Святого Духа или на Площади явилось такое чудо, а добросовестные разыскания не помогли бы низвести легендарный персонаж до пропорций «человека, которого кто-то знает», иногда лично, иногда отвлеченно, – знает его общественное положение или такую-то степень родства с жителями Комбре. Незнакомые оказывались то сыном г-жи Сотон, вернувшимся с военной службы, то племянницей аббата Пердро, вышедшей из монастыря, то братом нашего кюре, то сборщиком налогов из Шатодёна, который только что вышел в отставку или приехал на праздники. Замечая этих незнакомцев, вы проникались верой в то, что в Комбре люди, которых никто не знает, – это просто те, кого не сразу признали и опознали. А ведь г-жа Сотон и кюре очень заранее преду-

---

<sup>61</sup> ...Али-Баба и сорок разбойников, Аладдин и волшебная лампа... – сказки из «Тысячи и одной ночи».

преждали, что ожидают своих «путешественников». Бывало, вечером, вернувшись домой, я поднимался к тете рассказать о прогулке, и если я неосторожно упоминал о том, что возле Старого моста мы повстречали человека, которого не знает дедушка, то она восклицала: «Человек, которого не знает дедушка! Быть такого не может!» Все же, несколько взволнованная этой новостью, она хотела выяснить все досконально и требовала дедушку наверх. «Кого это вы повстречали близ Старого моста, дядя? Неужели кого-то незнакомого?» – «Нет-нет, – отвечал дедушка, – это был Проспер, брат садовника госпожи Буйбеф». – «А, ну ладно, – говорила тетя, успокоившись и слегка краснея; потом пожимала плечами и насмешливо добавляла: – А он мне тут рассказывал, что вы встретили незнакомого человека!» И мне наказывали впредь быть осмотрительнее и не будоражить тетю необдуманными замечаниями.

В Комбре все так хорошо знали всех, животных и людей, что если тете попадалась на глаза собака, «которую она совершенно не знала», она непрестанно думала об этой собаке и посвящала этому непостижимому явлению все свои логические способности и часы досуга.

– Должно быть, это собака госпожи Сазра, – говорила Франсуаза без особой уверенности, а просто желая умиротворить тетю, чтобы она не «ломала себе голову».

– А то я не знаю собаки госпожи Сазра! – отвечала тетя: ее критический ум не так легко смирялся с фактами.



– Ну, тогда это новая собака, которую привез из Лизье господин Галопен.

– Ну разве что так.

– Сдается мне, славное создание эта собачка, – добавляла Франсуаза, почерпнувшая сведения от Теодора, – умнящая, как человек, всегда веселая, всегда дружелюбная, а уж ласковая какая. Где это видано, чтобы такая молодая собачка была уже такая обходительная. Госпожа Октав, мне надо идти, нет у меня времени развлекаться, скоро уже десять, плита не растоплена, а мне еще спаржу ошипывать.

– Что такое, Франсуаза, опять спаржа! Да вы в этом году просто больны спаржей, вы ею наших парижан обкормите!

– Нет-нет, госпожа Октав, они это любят. Придут из церкви с аппетитом, и увидите, уплетут за милую душу.

– Но они уже, наверное, в церкви – вам и впрямь лучше поторопиться. Ступайте присмотреть за завтраком.

Покуда тетя рассуждала с Франсуазой, я шел с родителями к обедне. Как я любил нашу церковь, как ясно вижу ее еще и теперь! Мы проходили по старой покосившейся паперти, черной, сплошь в выбоинках, как шумовка; и сама паперть, и чаша со святой водой, к которой она вела, истерлись по краям до глубоких вмятин, словно, повторяясь веками, легкие касания робких пальцев, бравших святую воду, и накидок на плечах у приходивших в церковь крестьянок обретали разрушительную силу, искривляли поверхность камня и испещряли его бороздами, какие оставляет колесо телеги

на тумбе, задевая ее день за днем. Надгробные плиты внутри церкви, под которыми, наподобие духовного подножия для хоров, покоились благородные останки комбрейских аббатов, были уже не просто плиты из безжизненного и твердого камня: время смягчило их, они струились, как мед, за пределы своих обтесанных граней, и переплескивались через них белесой волной, увлекая в своем потоке цветущие готические прописные буквы, затопляя белые мраморные фиалки; но, растекшись, они потом вновь сливались воедино, еще больше ужимая немногословную латинскую надпись, внося новую прихотливость в расположение этих усеченных знаков, сближая две буквы в слове, а остальные безмерно растягивая. Витражи нашей церкви ярче всего сверкали в ненастные дни, и даже если снаружи было пасмурно, можно было не сомневаться, что внутри ясно; один витраж во всем своем величии был заполнен единственным персонажем, похожим на карточного короля, который жил наверху, под церковным сводом, между небом и землей (и бывало, что в будний день, в полдень, до начала богослужения, в одну из тех редких минут, когда проветренная, пустая церковь, более человеческая, роскошная, сверкавшая в солнечном свете своим пышным убранством, обретала со всеми ее каменными статуями и цветными стеклами почти жилой вид, как просторный холл гостиницы в средневековом стиле, в косом синем отблеске этого витража на мгновение преклоняла колени г-жа Сазра, положив на соседнюю молитвенную скамеечку пере-

вязанный пакетик с пирожными, которые она только что забрала у кондитера напротив и несла домой к обеду); на другом розовая снежная гора, у подножия которой кипела битва, словно покрывала инеем сами витражные стекла, вздувая их своей мутной изморозью, как будто это был не витраж, а облепленное застывшими снежинками окно, освещенное зарей (возможно, той самой, что обгадряла заалтарный образ такими свежими тонами, что казалось, они только на мгновение вспыхнули от света, идущего извне, который вот-вот померкнет, а не от краски, навсегда приставшей к камню); и все стекла были такие старинные, что их серебристая древность то тут, то там искрилась пылью веков и обнажала блистательную и протертую до дыр основу нежной стеклянной шпалеры. Был там один витраж, высокий, разделенный на сотню маленьких прямоугольных стеклышек, в которых преобладал синий цвет, – они напоминали колоду карт вроде тех, которыми забавлялся король Карл VI<sup>62</sup>; но вот сквозь него не то проблескивал луч, не то мой взгляд, скользя, расшевеливал этот подвижный и драгоценный пожар, вспыхивавший и угасавший в стекле, – и мгновением позже оно уже переливалось и блестело, как павлиний хвост, потом дрожало и волнилось пылающим фантастическим дождем, сочившимся с

---

<sup>62</sup> ...напоминали колоду карт... забавлялся король Карл VI... – Карл VI Безумный (официальное наименование Возлюбленный, 1368–1422), французский король, с 1392 г. все больше погружавшийся в психическую болезнь. Для его развлечения была специально изготовлена колода карт Таро, в которой одна карта, «император», изображала человека в короне и в синем одеянии.

высоты темного каменистого свода, вдоль сырых стен, словно я вслед за родителями, несшими с собой молитвенники, шел вглубь какого-то грота, разукрашенного радугой извилистых сталактитов; еще миг – и ромбики витражных стекол обретали прозрачную глубину и нерушимую твердость сапфиров, плотно пригнанных один к другому на поверхности огромного наперсного креста, но за ними угадывалась, милее всех этих сокровищ, мгновенная улыбка солнца; распознать ее в синей нежной волне, омывавшей эти драгоценные камни, было так же легко, как в булыжниках площади, и в соломе, устилавшей рынок; и даже в наши первые воскресенья перед самой Пасхой, сразу после приезда, когда земля была еще голая и черная, эта улыбка в утешение мне раскидывала, как в какую-нибудь незапамятную весну в царствование преемников Людовика Святого, свой ослепительный золоченый ковер стеклянных забудок.

Две шпалеры изображали коронование Есфири<sup>63</sup> (преда-

---

<sup>63</sup> *Две шпалеры изображали коронование Есфири ...* – Возможно, образцом для этих шпалер Прусту послужили шпалеры XV и XVI вв., которые хранятся в сокровищнице собора Св. Этьена в Сансе, с которыми их сравнивает кюре. Описание шпалер придает семейству Германтов дополнительные эстетические и исторические черты, но важнее всего для романа сам их сюжет, вновь отсылающий к библейской Книге Есфирь, а еще больше к одноименной трагедии Расина: Есфирь, скрывающую, по совету благочестивого Мардохея, свое еврейское происхождение, избирает в жены персидский царь Артаксеркс, и она спасает еврейский народ от гибели. Библейский и восточный характер этой истории неоднократно подчеркивается как здесь, так и в дальнейшем. Поразительна также чисто аристократическая и средневековая коннотация шпалер комбрейской церкви. История Есфири, так же как история Женеьевы Брабантской, подразумевает семей-

ние утверждало, что Артаксеркса изобразили похожим на одного из французских королей, а Есфирь – на даму из рода Германтов, в которую он был влюблен), краски полиняли, и лица от этого казались живее, выразительнее, светлее: немного розового цвета витало на губах Есфири, вылезая за их контур, желтый цвет ее платья так масляно лоснился, что словно добавлял плотности, осязаемости фигуре, выступавшей вперед из густого воздуха; а на фоне зеленой листвы, еще яркой в нижних частях шелково-шерстяного полотнища, но выцветшей сверху, особенно бросалась в глаза над темными стволами бледность высоких желтеющих ветвей, золотистых и словно полустертых косыми и резкими лучами невидимого солнца. Все это, а уж тем более драгоценные реликвии, подаренные церкви людьми, для меня почти легендарными (золотой крест, выкованный, как считалось, святым Элигием<sup>64</sup> и подаренный Дагобертом<sup>65</sup>, могильная пли-

ную подоплеку, которая очевидней выступает в черновых вариантах: в одном из черновиков мать рассказчика, подобно Есфири, робко проникает в спальню рассказчика – Артаксеркса (в дальнейшем эта роль перейдет к Альбертине в книге «Пленница»). Вероятно, в «Комбре» тема Есфири нужна, чтобы ввести в роман мотив подразумеваемого еврейства матери. С другой стороны, на автора могло повлиять и детское воспоминание: у родителей Пруста была картина Франкена Младшего (1578–1647) «Есфирь и Аман».

<sup>64</sup> ...выкованный, как считалось, святым Элигием... – Св. Элигий (588–660), епископ Нуайона, казначей короля франков Хлотаря II, а затем Дагоберта, считался покровителем золотых дел мастеров. Обратил в христианство множество язычников.

<sup>65</sup> ...и подаренный Дагобертом... – Дагоберт I (600–638), король франков, сын Хлотаря II. Вместе со св. Элигием объединил и укрепил меровингское королев-

та сыновей Людовика Немецкого<sup>66</sup>, порфи́ровая с эмалью на меди), – пока мы пробирались к нашим стульям, я шел по церкви, как по долине фей, где восхищенный крестьянин примечает то в скале, то в дереве, то в болоте осязаемые следы их сверхъестественного появления, – все это вместе делало церковь в моих глазах совершенно особенной, не такой, как весь город: ее здание располагалось, если можно так выразиться, в четырех измерениях, из которых четвертое было Время, и несло сквозь века свой неф, который, пролет за пролетом, придел за приделом, словно преодолевал и переплывал не просто десятки метров, но и сменявшиеся эпохи, выходя из них победителем; в толще стен она укрывала грубый и свирепый одиннадцатый век со всеми его тяжелыми замурованными арками, которые обрекла на слепоту стена из грубого песчаника, так что он проглядывал наружу лишь через глубокую впадину возле паперти, откуда начиналась лестница на колокольню, но и там его маскировали изящные готические аркады, кокетливо толпясь перед ним, как прячут старшие сестры неотесанного, капризного и скверно одетого младшего брата, с улыбкой заслоняя его от посторонних; и она вздымала к небу над Площадью свою колоколенку, выдавшую в старину Людовика Святого, – казалось, она и сейчас его видит – и вместе со своей криптой погружа-

---

ство. В 626 г. основал аббатство Сен-Дени, где поныне сохранилась его гробница; начиная с Людовика Святого, там хоронили французских королей и королев.

<sup>66</sup> *Людовик Немецкий* (804–876) – с 843 г. король Восточно-Франкского королевства, основатель германской ветви Каролингов.

лась в меровингскую ночь, где, ведя нас на ощупь под темным сводом, пронизанным мощными ребрами, словно крыло огромной каменной летучей мыши, Теодор и его сестра освещали нам свечой гробницу внучки Сигеберта<sup>67</sup>, глубокая вмятина на которой, похожая на след ископаемого, осталась «от хрустальной лампы, которая в тот вечер, когда была убита франкская принцесса, сорвалась сама собой с золотых цепей, на коих была подвешена на месте нынешней апсиды<sup>68</sup>, погрузилась в камень, и он мягко подался под ее грузом, причем хрусталь не разбился и пламя не угасло»<sup>69</sup>.

---

<sup>67</sup> *Сигеберт* (535–575) – король франков, младший сын Хлотаря, героя «Рассказов из времен Меровингов» Огюстена Тьерри. Таким образом, Сигеберт приходился внуком Хлодвигу (ок. 466–511), основателю Франкского государства, так же как и король франков Теодоберт I (533–549), которому в романе приписывается строительство церкви в Комбре. Меровингский слой церкви Комбре выдержан в границах исторического и географического правдоподобия.

<sup>68</sup> *Апсида* – выступ здания, полукруглый, граненый или прямоугольный в плане, перекрытый полукуполом или сомкнутым полусводом. В христианских храмах апсида – алтарный выступ.

<sup>69</sup> ...«от хрустальной лампы... пламя не угасло». – Это почти дословная цитата из «Рассказов из времен Меровингов» Огюстена Тьерри. Упомянув смерть Галесвинты, невестки, а не внучки Сигеберта, убитой ее мужем Хильпериком, Тьерри пишет: «Говорили, что в день погребения Галесвинты сама собой сорвалась хрустальная лампа и, ударившись о мраморный пол, не только не разбилась, но даже не угасла. Были слухи еще более чудесные: многие якобы видели собственными глазами, как упавшая лампада продавила мраморный пол и ушла до половины в камень, как в мягкую массу (Тьерри. Цит. соч. С. 51). Пруст здесь, пока еще не называя имени Тьерри, отдает ему долг благодарности: это была его любимая книга, любимый писатель и вообще любимый герой, и весь 1886 г. – тот самый год, когда умерла тетка Амио, прообраз тети Леони, – прошел у Пруста

Что до апсиды комбрейской церкви, то стоит ли в самом деле о ней говорить? Уж такая она была грубая, ни художественной красоты, ни даже религиозного порыва. Перекресток, на который она выходила, шел под уклон вниз, поэтому снаружи ее грубая кладка возносилась над основанием из нешлифованного песчаника, утыканного щебнем, и в этой стене не было ничего собственно церковного; оконные проемы были пробиты, казалось, чересчур высоко, и все целиком напоминало не столько церковную стену, сколько тюремную. И разумеется, позже, когда я вспоминал все прославленные апсиды, которые я видел, мне никогда не приходило в голову сравнивать с ними комбрейскую апсиду. Только однажды, на повороте маленькой провинциальной улицы, у перекрестка, от которого разбегались три улочки, я заметил шероховатую надстроенную над основанием каменную кладку с высоко пробитыми оконными проемами, такую же асимметричную с виду, как апсида в Комбре. И тогда я не задумался, как в Шартре или в Реймсе, о том, с какой мощью здесь выразилось религиозное чувство, а невольно вскрикнул: «Это Церковь!» Церковь! Такая обычная, она стояла между двумя соседями по улице Св. Илария, на которую выходил ее северный портал, между аптекой г-на Рапена и домом г-жи Луазо, примыкала к ним вплотную; простая гражданка Комбре, она могла бы иметь собственный номер, как другие дома на улице, если бы дома на комбрейских улицах



имели номера<sup>70</sup>, и казалось, почтальон должен был заглядывать в нее по утрам, разнося почту, по дороге от г-на Рапена к г-же Луазо, и все же между ней и всем остальным оставалась невидимая граница, которую моему разуму никогда было не преодолеть. И напрасно г-жа Луазо растила на окне фуксии, которые усвоили себе дурную привычку опрометчиво закидывать свои плети куда попало, и цветы этих фуксий, когда они подрастали, тянулись поскорей охолодить свои фиолетовые, налитые кровью лица о темный фасад – в моих глазах это не придавало фуксиям никакой святости; пускай глаза мои не видели промежутка между цветами и почерневшим камнем, к которому они прислонялись, зато в уме я оставлял между ними целую пропасть.

Колокольню Св. Илария было заметно еще издали: ее незабвенный облик вырастал на горизонте прежде, чем появлялся сам Комбре; когда из поезда, который на Пасхальной неделе привозил нас из Парижа, отец замечал, как она скользит по небесным бороздкам, перебирая их одну за другой, раскручивая своего железного петушка во все стороны, он говорил нам: «Ну все, приехали, берите плоды». А на пути одной из самых долгих наших прогулок в Комбре было место, где стиснутая с обеих сторон склонами дорога вдруг выбегала на огромную равнину, которую замыкала на горизонте неровная кромка леса, а над лесом возвышался толь-

---

<sup>70</sup> ...если бы дома на комбрейских улицах имели номера... – В Илье дома получили нумерацию только в 1934 г.

ко узкий шпиль Св. Илария – такой тонкий, такой розовый, что казалось, его попросту прочертил по небу чей-то ноготь, чтобы этот пейзаж, эту картину природы и только природы отметить легким вмешательством искусства, единственным знаком человеческого участия. Когда мы подходили ближе и становилось видно уцелевшую часть квадратной полуразрушенной башни, что примыкала к колокольне, уступая ей в высоте, больше всего поражал красноватый темный тон камня; а туманным осенним утром вздымавшаяся над буйными фиолетовыми виноградниками пурпурная руина казалась почти того же цвета, что дикий виноград. Часто на площади по дороге домой бабушка останавливала меня, чтобы посмотреть на колокольню. Из окон своей башни, прорезанных попарно одно под другим, с той выверенной и словно врожденной соразмерностью черт, которая придает красоту и достоинство человеческим лицам, да и не только им, колокольня раз за разом, в неизменном ритме выпускала, извергала из себя вороньи стаи, и они еще какое-то время кружили с криками, – и казалось, древние камни, не мешавшие им резвиться, но и не замечавшие их, внезапно становились непригодными для жилья и отталкивали, отшвыривали их от себя, источая энергию вечного движения. Потом, исчертив во все стороны фиолетовый бархат вечернего воздуха, птицы вдруг успокаивались, и тогда башня вновь представляла им не угрозой, а гостеприимным убежищем и заглатывала их в очередной раз, причем несколько птиц рассаживались

и как будто замирали на шпиле колоколенки, но, возможно, ловили при этом мошку-другую, как какая-нибудь чайка, которая застывает на гребне волны неподвижно, как рыболов. Сама хорошенько не понимая почему, бабушка считала, что в колокольне Св. Илария нет ничего вульгарного, претенциозного, мелочного; за это же самое она любила и природу, не опошленную рукой человека (как опошлял ее садовник моей двоюродной бабки), и произведения, отмеченные гением, — любила и верила в сокрытое в них мощное благотворительное влияние на людей. И вся церковь, на какую ее часть ни посмотри, от любого другого здания отличалась, наверно, тем, что вся она была проникнута какой-то особой мыслью, но именно в колокольне она словно осознавала себя, утверждалась в своем неповторимом и ответственном существовании. Колоколья была ее глашатаем. И главное, бабушка, вероятно, угадывала в комбрейской колокольне то, что было для нее ценнее всего на свете, — естественность и безупречность. Ничего не смысла в архитектуре, она говорила: «Дети мои, смейтесь надо мной, если хотите, и, может, по правилам она и не совсем хороша, но мне нравится, что она такая старомодная и причудливая. По-моему, играй она на рояле, она бы не колотила по клавишам». И, глядя на колоколю, следуя глазами за мягким уклоном, за старательной крутизной ее каменных скатов, которые тянулись вверх и навстречу друг другу, как руки при молитве, бабушка настолько сливалась с воспарением шпиля, что ее взгляд словно улетал ввысь

вместе с ним; и тут же она дружелюбно улыбалась древним истертым камням; закат освещал уже только самые верхние из них, и, вступая в залитое солнцем пространство, смягченные светом, они, казалось, поднимались все выше и отступали вдаль — словно голос, выпевающий песню, вдруг взмыл фальцетом на октаву выше.

Колокольня Св. Илария сообщала любому занятию, любому времени суток, любому городскому виду особое выражение, законченность, неподдельность. Из моей комнаты виднелся только крытый шифером церковный неф, но теплым летним воскресным утром, глядя на этот шифер, сверкающий, как черное солнце, я говорил себе: «Господи, уже девять! Пора собираться, я же еще хотел забежать к тете Леони перед обедней!» — и я знал точно, какого цвета солнце на площади, жара и пыль на рынке, сумрак в лавке с опущенными шторами, куда мама, быть может, зайдет до обедни, — там пахнет небеленым холстом, и она купит какой-нибудь носовой платок, который покажет ей, приосанившись, хозяин, даром что он уже собирался запирать лавку, идти вглубь дома, надевать воскресный пиджак, мыть с мылом руки, которые он каждые пять минут, даже в самых унылых обстоятельствах, привычно потирает с таким видом, что вот, мол, какой он предприимчивый, какой хитрец и до чего ему везет.

Когда после обедни мы заходили к Теодору сказать, чтобы он принес булку побольше, потому что к нам на обед, пользуясь хорошей погодой, собираются родственники из Тиберзи,

колокольня высилась перед нами, сама золотистая и поджаристая, как огромный освященный хлеб, с хрустящей корочкой и клейкими солнечными бликами, устремляясь острой верхушкой в синее небо. А вечером, когда я возвращался с прогулки, думая, что вот сейчас уже надо будет идти прощаться с мамой перед сном и больше я ее не увижу, колокольня, наоборот, бывала такая мягкая в убывавшем свете дня, словно ее, как бурую бархатную подушку, уложили поглубже в поблекшие небеса, а они подались под ее нажимом, слегка прогнулись, чтобы дать ей место, обтекли ее по краям; и крики птиц, круживших вокруг нее, словно еще подчеркивали, какая она тихая, какой у нее высокий шпиль и какая она вся несказанная.

Даже если нам нужно было по делам в другую сторону, туда, где церкви было не видно, то и там тоже все казалось подчинено колокольне, — она то и дело возникала между домами и, пожалуй, сама по себе, без церкви, выглядела еще трогательнее. И конечно, много есть колоколен красивее нашей, если смотреть на них с обычной точки зрения, и я храню в памяти картинки с колокольнями поверх крыш, в художественном смысле впечатляющие сильнее, чем угрюмые комбрейские улочки. Никогда не забуду в одном любопытном нормандском городке, неподалеку от Бальбека, два очаровательных особняка восемнадцатого века, которые я по многим причинам люблю и почитаю; между ними, если смотреть из прекрасного сада, уступами спускающегося к реке, тянет-

ся ввысь шпиль готической церкви, которую они заслоняют, и этот шпиль словно служит завершением, увенчанием их фасадов, но вещество, из которого он состоит, настолько иное, настолько драгоценное, чешуйчатое, розовое, блестящее, что ясно видишь: оно с этими фасадами имеет не больше общего, чем пурпурное, в зазубринках, острие, венчающее морскую раковину, закрученную спиралевидной башенкой и облитую эмалью – с двумя гладкими морскими камешками, между которыми она лежала, когда ее подняли на пляже. Даже в Париже, в одном из самых неприглядных кварталов в городе, я знаю окно, из которого через несколько улиц, поверх нагроможденных над этими улицами крыш, занимающих весь первый, второй и даже третий план, видишь башенку фиолетового, а иногда рыжеватого, а иногда, на самых благородных «оттисках», которые удастся отпечатать с нее атмосфере, – прозрачно-черного, пепельного цвета, и это не что иное, как купол церкви Св. Августина, придающий этому парижскому виду сходство с некоторыми римскими видами Пиранези<sup>71</sup>. Но с каким бы вкусом ни изготавливала моя память эти маленькие гравюры, ни в одну из них она не могла вложить то, что я давным-давно потерял, – то чувство, которое помогает нам любое явление не воспринимать как зрелище, а верить в него, как в существо, не имеющее

---

<sup>71</sup> Джованни Батиста Пиранези (1720–1778) – итальянский рисовальщик, гравёр и архитектор, автор многочисленных альбомов гравюр; наиболее знамениты его «Виды Рима» (изд. в 1748–1788).

себе равных; ни от одной из них не зависит целый глубинный пласт моей жизни, как зависит он от воспоминания о виде на комбрейскую колокольню с улочки позади церкви. Смотреть ли на нее в пять часов, идя за письмами на почту, за несколько домов от нашего, когда ее одинокая верхушка внезапно выскакивала слева, нарушая ровную линию крыш; или, наоборот, направлялись ли мы провести г-жу Сазра – глаза упирались в ту же линию, которая теперь тянулась ниже, и было понятно, что надо свернуть во вторую улицу после колокольни; а если мы шли еще дальше, на вокзал, ее было видно сбоку, и она открывала нам свои новые ребра и грани, как трехмерная геометрическая фигура, которую во время ее вращения нам удалось рассмотреть в еще незнакомом ракурсе; а если смотреть с берегов Вивонны, мускулистая, подтянутая апсида упруго возвышалась над окружающим ее пейзажем и словно рождалась из порыва колокольни устремить свое острие прямо в середину небес: всякий раз без нее не обходилось, она господствовала надо всем, увенчивала дома неожиданной башенкой и поднималась передо мной, как перст Бога, смешавшегося с толпой смертных, но по этой башенке я узнавал его и в толпе. Еще и сегодня в каком-нибудь большом провинциальном городе или в мало-знакомом квартале Парижа, когда прохожий, наставляя меня «на путь истинный», указывает мне как ориентир то башенку над больницей, то монастырскую колокольню, вздымающую свою островерхую митру на углу той улицы, куда мне

следует повернуть, — если моей памяти хоть чуть-чуть, по какой-нибудь мелочи, удастся уловить в этом ориентире смутное сходство с любимым и исчезнувшим обликом, то прохожий, обернувшись, чтобы убедиться, что я не заблужусь, с изумлением замечает, как я, забыв, что шел погулять или по срочному делу, застываю перед колокольной на целые часы, пытаюсь что-то вспомнить и чувствуя, как обширные пространства внутри меня отвоевываются у забвения, осушаются, отстраиваются; и, вероятно, тогда я с еще большим нетерпением, чем только что, когда окликнул прохожего, продолжаю искать дорогу, сворачиваю за угол... но... все это у меня в душе...

Возвращаясь с обедни, мы часто встречали г-на Леграндена, которого удерживала в Париже его должность инженера, так что, кроме отпуска, он наезжал в свои комбрейские владения только с субботнего вечера до утра понедельника. Это был один из тех людей, которые, добившись блестящих успехов в научной карьере, обладают между тем и совсем иной культурой, литературной, художественной; для их профессии она совершенно бесполезна, зато чарует в разговоре. Они разбираются в литературе лучше многих литераторов (мы понятия тогда не имели, что г-н Легранден был известен как писатель, и очень удивились, узнав, что один знаменитый композитор написал музыку на его стихи), наделены не меньшей «легкостью», чем иные художники, поэтому полагают, что достойны лучшей участи, и исполняют свою



работу или беспечно и с фантазией, или подчеркнуто добросовестно и высокомерно, с презрением, горечью и скрупулезностью. Высокий, с прекрасной осанкой, с умным и задумчивым лицом, с длинными белокурыми усами, с разочарованным взглядом синих глаз, утонченно любезный, лучший собеседник из всех, кого мы знали, он, по мнению моих родных, постоянно приводивших его в пример, был истинным представителем элиты, образцом благородства и порядочности. Бабушка порицала его лишь за то, что он очень уж красноречив, говорит слишком по-книжному, что нет в его разговоре той естественности, какая чувствовалась в его галстуках, завязанных большими свободно витающими бантами, или в его однобортных пиджачках, какие носят школьники. Кроме того, она удивлялась, зачем он часто произносит пламенные тирады против аристократии, суетности светской жизни, снобизма, «...потому что это наверняка и есть тот самый грех, который имел в виду святой Павел, говоря о грехе, коему нет отпущения»<sup>72</sup>.

К суетности бабушка была настолько неспособна, что даже не понимала толком, что это такое, а потому считала совершенно бесполезным занятием клеймить ее с такой горячностью. И потом, ей чудилась бестактность в том, что г-н Ле-

---

<sup>72</sup> ...о грехе, коему нет отпущения. – Аллюзия на библейский текст: «Ибо невозможно однажды просвещенных, и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших, опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются [Ему]» (Послание к Евреям, 6: 4–6).

гранден так яростно нападал на знать, чуть не возмущался, почему Революция не гильотинировала всех дворян до одного, между тем как его сестра, жившая недалеко от Бальбека, была замужем за нижненормандским дворянином.

– Привет вам, друзья! – говорил он, идя нам навстречу. – Вам повезло, что вы тут надолго. А мне завтра назад в Париж, в мою конуру!

И, улыбаясь своей слегка иронической и разочарованной, немного рассеянной улыбкой, добавлял: – Разумеется, у меня дома полным-полно всяких ненужных вещей. Не хватает только необходимого – большого куска синего неба, как здесь. Старайся, чтобы над твоей жизнью всегда оставался кусок неба, мальчуган, – добавлял он, обращаясь ко мне. – Душа у тебя милая, редкостная, артистическая, не лишай ее того, что ей нужно.

Когда мы возвращались домой и тетя посылала спросить нас, не опоздала ли г-жа Гупиль к обедне, мы были неспособны удовлетворить ее любопытство. Зато мы расстраивали ее еще больше сообщением, что в церкви работает художник, который копирует Жильберта Злого на витраже. Франсуазу тут же отправляли к бакалейщику, но она возвращалась ни с чем, потому что не застала Теодора, который, благодаря двум своим профессиям – певчего, заодно прибиравшего в церкви, а также рассыльного в бакалейной лавке, – обладал связями в обоих мирах и, следовательно, всеобъемлющими познаниями.

– Ах, – вздыхала тетя, – хоть бы Эдали поскорее пришла. Уж если не она, так и никто мне не скажет.

Эдали была старая дева, хромая, хлопотливая и глухая, она «ушла на покой» после смерти г-жи де ла Бретонри, у которой служила с самого детства, и теперь обитала в комнатке возле церкви, но дома сидела редко: то шла к церковной службе, то, когда службы не было, – пособить Теодору или помолиться; остальное время она навещала больных, как, например, тетю Леони, которой она рассказывала, что было во время обедни или вечерни. Она не брезговала небольшим приработком в добавление к скромной пенсии, которую ей выплачивала семья ее бывших хозяев, и время от времени ходила на постирушки к кюре или другим заметным в комбрейском церковном мире особам. Она неизменно носила черную суконную накидку, а на голове маленький белый чепчик, совсем монашеский; щеки ее и крючковатый нос были из-за кожного заболевания почти полностью покрыты ярко-розовыми пятнами цвета бальзамина. Ее появления были огромным удовольствием для тети Леони, которая уже давно никого больше не принимала, за исключением только господина кюре. Мало-помалу тетя устранила всех посетителей, ибо все они имели в ее глазах тот недостаток, что принадлежали к одному из двух разрядов людей, которых она терпеть не могла. Одни, худшие, – от этих она отделалась раньше – были те, кто советовал ей «меньше к себе прислушиваться» и проповедовал, пускай пассивно, прояв-

для это лишь неодобрительным молчанием или недоверчивыми улыбками, пагубную доктрину: мол, необременительная прогулка по солнышку или добрый бифштекс с кровью (а она-то четырнадцать часов переваривала два жалких глотка минеральной воды!) принесут ей больше пользы, чем постель и лекарства. В другой разряд входили те, которые якобы верили, что она больна серьезней, чем сама думает, или что она больна именно так серьезно, как утверждает. И все, кого она после некоторых колебаний и умильных уговоров Франсуазы допускала к себе, оказывались недостойны этой милости, поскольку робко заикались: «Не кажется ли вам, что если бы вы встряхнулись немножко в погожий денек...» или, напротив, на ее слова: «Я сегодня плоха, совсем плоха, друзья мои, со мной все кончено», возражали: «Что и говорить, без здоровья и жизнь не в радость, но вы еще поскрипите, даст Бог!» – и все они могли не сомневаться, что больше их никогда не пустят. То-то Франсуаза веселилась, видя тетино потрясение, когда со своей кровати та замечала на улице Святого Духа какого-нибудь гостя, явно собравшегося ее проведать, или слышала звонок у дверей; но еще больше ее смешили – не хуже доброй шутки – тетины всегда успешные хитрости, благодаря которым та спроваживала людей, и то, с каким озадаченным видом они шли прочь, так ее и не повидав, и в глубине души Франсуаза восхищалась хозяйкой, считая ее куда выше их всех, поскольку она не желает их принимать. В общем, тетя требовала, чтобы люди одоб-

ряли ее режим, сочувствовали ее страданиям и успокаивали ее относительно будущего.

Элали была на это мастерица. Тетя могла сказать ей двадцать раз в минуту: «Со мной все кончено, милая моя Элали», и Элали двадцать раз отвечала: «Изучив свою болезнь, как вы ее изучили, госпожа Октав, вы доживете до ста лет, мне это еще вчера говорила госпожа Сазрен». (Одно из самых нерушимых убеждений Элали, поколебать которое не могло внушительное число опровержений, полученных на опыте, состояло в том, что г-жу Сазра звали г-жа Сазрен.)

– Сто лет мне не надо, – отвечала тетя, предпочитавшая, чтобы дням ее жизни не полагали точного предела.

При всем том Элали, как никто, умела развлечь тетю, не утомляя ее, поэтому ее посещения, происходившие, если не вмешивалось что-нибудь неожиданное, регулярно по воскресеньям, были для тети удовольствием, предвкушение которого было поначалу приятно, но мгновенно становилось мучительным, как приступ голода, стоило Элали хоть чуть-чуть задержаться. Иногда это сладострастное ожидание затягивалось и превращалось в пытку: тетя непрестанно смотрела на часы, зевала, на нее нападали приступы слабости. Если Элали звонила в дверь под вечер, когда на ее приход уже теряли надежду, тете чуть ли не дурно становилось. На самом деле по воскресеньям она только и думала об этом визите, и сразу после обеда Франсуаза с нетерпением ждала, когда мы уйдем из столовой и отпустим ее наверх «занимать» тетю.

Но бывало и так (особенно когда в Комбре наступали теплые дни), что высокомерный полуденный час, слетев с башни Св. Илария и в знак особой чести на мгновение наградив ее двенадцатью самыми драгоценными завитками своей звучной короны, уже давно отзвонил над нашим столом, над освященным хлебом, который тоже по-соседски пришел к нам прямо из церкви<sup>73</sup>, – а мы все еще сидели над тарелками с «Тысячью и одной ночью», отяжелев от жары и, главное, от еды. Потому что к незыблемой основе, состоявшей из яиц, отбивных, картошки, варений, печений, о которых Франсуаза даже уже не предупреждала, она – смотря по тому, что подсказывали урожай в поле и огороде, улов, прихоти рынка, любезности соседей и собственное вдохновение, так что наше меню, подобно тем квадрифолиям<sup>74</sup>, которыми в XIII

---

<sup>73</sup> ...над освященным хлебом... прямо из церкви... – Во Франции каждое воскресенье у обедни раздавали хлеб святого причастия. Этот обычай установился еще в VIII в., во времена Карла Великого. Каждая семья по очереди приносила в воскресное утро в церковь ржаной хлеб; позже его заменяли пшеничным, иногда сдобным. Хлеб клали на салфетке на престол, священник святил его, затем, после проповеди, его раздавали прихожанам. Во время Первой мировой войны этот обычай прекратился, то есть, когда Пруст писал эти строки, он уже ушел в прошлое.

<sup>74</sup> *Квадрифолий* – архитектурное украшение или витраж в форме цветка с четырьмя округлыми лепестками, в которые иногда вписывались сюжетные изображения. Джон Рёскин в своей книге «Амьенская Библия», которую Пруст перевел с английского, говорит: «... остальные святые на портале... все провинциального происхождения, это, так сказать, личные друзья амьенцев; а над ними расположены квадрифолии, изображающие очаровательную смену времен года, который эти святые защищают и освящают...»

веке украшали порталы соборов, отражало понемногу и смену времен года, и случаи из жизни, — добавляла то камбалу, потому что торговка ручалась за ее свежесть, то индюшку, потому что уж больно хороша была индюшка на рынке в Руссенвиль-ле-Пен, то испанские артишоки с говяжьими мозгами, потому что в таком виде она их еще нам не готовила, то жареную баранью ногу, потому что на свежем воздухе разыгрывается аппетит, а до семи вечера еще жить и жить, то шпинат, для разнообразия, то абрикосы, потому что абрикосы сейчас еще редкость, то смородину, потому что через две недели ее уже не станет, то малину, которую нарочно принес г-н Сванн, то вишни, первые вишни, вызревшие в саду за два года, то творог со сливками, потому что когда-то я его очень любил, то миндальное пирожное, потому что вчера она его заказала, то сдобный каравай, потому что пришла наша очередь нести хлеб в церковь. Когда со всем этим было покончено, появлялся итог вдохновения и предмет особой заботы Франсуазы — шоколадный крем, созданный специально для нас, но посвященный главным образом моему отцу, большому его ценителю, эфемерный и воздушный, как стихотворение на случай, в который она вкладывала весь свой талант. Если бы кто-нибудь отказался его отведать, сказал: «Нет-нет, я уже наелся», он бы тут же низвел себя до уровня тех невеж, которым художник дарит свое творение, а они смотрят, сколько оно весит да из чего сделано, хотя ценностью обладают лишь намерение и автограф автора. И даже

оставить хотя бы капельку на тарелке было бы такой же грубостью, как под носом у композитора подняться с места до конца пьесы.

Наконец мама говорила мне: «Ладно, сколько можно сидеть за столом, если тебе жарко на дворе, иди к себе в комнату, но сперва погуляй: не надо читать сразу после еды». Я шел к насосу и садился там, рядом с желобом, который, как готическую купель, иногда украшала собой какая-нибудь юркая саламандра, выступая из шершавого камня своим аллегорическим веретенообразным контуром, – садился на скамью без спинки, в тени сирени, в том уголке сада, который через боковую калитку выходил на улицу Святого Духа и где из неухоженной, поднимавшейся двумя уступами земли вырастала кухонная пристройка, – она выдавалась из дома и рядом с ним казалась отдельным домиком. Виден был ее покрытый плиткой пол, красный и сверкающий, как порфир. Она напоминала не столько логово Франсуазы, сколько храм Венеры. В пристройке громоздились приношения молочника, фруктовщика, зеленщицы, приезжавших подчас из весьма отдаленных деревушек, чтобы пожертвовать этому храму первые плоды земли своей<sup>75</sup>. А конек ее крыши всегда венчало голубиное воркование.

Когда-то я не задерживался в окружавшей ее священной

---

<sup>75</sup> ...пожертвовать этому храму первые плоды земли... – Аллюзия на библейский текст: «Самые первые плоды земли твоей принеси в дом Господа Бога твоего» (Исход, 34: 26).



роще, потому что, перед тем как идти к себе наверх читать, заглядывал в комнатку на первом этаже, которую занимал дядя Адольф, дедушкин брат, в прошлом военный, вышедший в отставку в чине майора; солнечные лучи проникали туда редко, и даже когда сквозь открытые окна струилась жара, внутри неизменно пахло сумрачной прохладой, сразу и лесной, и старорежимной, какую подолгу мечтательно вдыхаешь всей грудью, попадая в заброшенный охотничий домик. Но вот уже который год я не ходил больше в комнату дяди Адольфа, потому что он перестал ездить в Комбре, рассорившись с нашей семьей из-за меня, и вот как это произошло.

В Париже раз-другой в месяц меня посылали к нему в гости в тот час, когда он, одетый в простой домашний китель, доедал обед, который ему подавал слуга в тиковой куртке в сиреневую и белую полосу. Дядя брюзжал, что я давно у него не был, что его все бросили, угощал меня марципаном или мандарином; никогда не останавливаясь, мы проходили по гостиной, где никогда не топили, где стены поблескивали золоченой лепниной, потолок был выкрашен в голубой цвет, что должно было напоминать небо, а мебель обита атласом, как у бабушки с бабушкой, но желтым; потом мы оказывались в комнате, которую он называл своим «рабочим кабинетом»; там по стенам были развешаны гравюры с дородными розовыми богинями на черном фоне, правящими колесницей, или попирающими земной шар, или со звездой

во лбу, – такие гравюры любили во времена Второй империи, потому что считалось, будто в них есть что-то помпейское<sup>76</sup>, потом их возненавидели, а теперь опять полюбили, по одной-единственной причине, хотя приводятся и другие, а именно потому, что в них есть что-то от Второй империи. И я сидел с дядей, пока не приходил лакей и не спрашивал от имени кучера, в котором часу подавать экипаж. Тут дядя погружался в раздумье, которое восхищенный лакей боялся потревожить малейшим движением и дожидался ответа затаив дыхание, хотя ответ был всегда один и тот же. В конце концов, преодолев последние сомнения, дядя неизменно изрекал: «В четверть третьего», а лакей повторял удивленно, но не вступая в спор: «В четверть третьего? Хорошо... Я ему передам».

В те времена я любил театр, любил платонической любовью, потому что родители еще ни разу меня туда не брали, и я настолько смутно представлял себе, какого рода наслаждение там получают, что недалек был от мысли, будто каждый зритель, как в стереоскоп, смотрит на сцену, видную ему одному, хотя и похожую на тысячи других, на которые смотрят другие зрители, каждый на свою.

Каждое утро я бежал к афишной тумбе и смотрел, какие спектакли объявлены. Ничего не было бескорыстнее и блаженнее тех грез, что дарила мне каждая объявленная пьеса, –

---

<sup>76</sup> ...в них есть что-то помпейское... – Имеются в виду, вероятно, фрески из города Помпеи, подчас с эротическими сюжетами.

грез, обусловленных и образами, неотделимыми от слов, составлявших ее название, и цветом самих афиш, еще сырых и вздувшихся от клея, на которых это название было напечатано. Уж не говоря о таких непостижимых названиях, как «Завещание Цезаря Жиродо» и «Эдип-царь» на темно-бордовой афише «Комеди Франсез», – но и на зеленых афишах «Опера-комик» меня изумляло, до чего отличается сверкающая белоснежная эгретка на афише «Бриллиантов короны» от гладкого загадочного атласа «Черного домино»<sup>77</sup>, а между тем родители сказали, что для первого похода в театр мне надо будет выбрать одну из этих двух пьес, и потому я, стараясь понять, какие именно радости сулит мне каждая из них, и сравнить с теми, что таятся в другой, пытался последовательно вникнуть в название обеих, поскольку ничего, кроме названий, о них не знал, и под конец моему воображению с такой силой представлялась ослепительная гордость одной пьесы и бархатистая нежность другой, что я оказывался так же неспособен решить, какая мне больше нравится, как если

---

<sup>77</sup> Уж не говоря... от гладкого загадочного атласа «Черного домино»... – «Завещание Цезаря Жиродо», пьеса Адольфа Бело и Эдмона Вийетара, которая в 1859 г. была поставлена в театре «Одеон», вошла в репертуар «Комеди Франсез» в 1874 г. Трагедия Софокла «Эдип-царь», в новом переводе Жюль Лакруа, была возобновлена в «Комеди Франсез» в 1881 г. «Бриллианты короны» и «Черное домино», комические оперы Д. Ф. Э. Обера на либретто Скриба, были поставлены соответственно в 1841 и 1837 гг., но удерживались в репертуаре «Опера-комик», парижского музыкального театра, существовавшего с 1715 г. до последних лет XIX века. Упоминание об этих четырех постановках позволяет установить, в какие годы все они шли одновременно; это 1881, 1882, 1884 и 1888 гг.

бы на десерт мне предложили выбрать или рис «Императрица», или шоколадный крем.

Все мои разговоры с товарищами вертелись вокруг тех актеров, чье искусство, еще мне неведомое, было первой среди множества форм, в которой я предчувствовал явление Искусства. Мне казалось, что неоценимую важность имеют мельчайшие различия в манере того или другого актера произносить тираду и передавать ее оттенки. И смотря по тому, что мне говорили об этих артистах, я располагал их по степени таланта в списках, которые повторял сам себе целыми днями, так что они в конце концов затвердели у меня в мозгу и мешали ему своим неизменным присутствием.

Позже, в коллеже, каждый раз, когда учитель отворачивался и я писал записочку новому другу, первым делом я всегда задавал вопрос, был ли он уже в театре и не кажется ли ему, что самый великий актер – Гот, за ним Делоне и т. д. И если, по его мнению, Февр шел только после Тирона, а, скажем, Делоне только после Коклена<sup>78</sup>, внезапная способность к передвижению, которую, утратив гранитную незыблемость, приобретал у меня в уме Коклен тем, что переезжал

---

<sup>78</sup> ...самый великий актер – Гот... только после Коклена... – Актеры театра «Комеди Франсез» Эдмон Гот (1822–1901) и Жозеф Тирон (1830–1891) были заняты в комических ролях; Луи-Арсен Делоне (1826–1903) – в амплуа первых любовников и влюбленных из классического репертуара. Александр Фредерик Февр (1835–1916) играл в современном репертуаре. Наиболее знаменитый, Бенуа-Констан Коклен, называемый Коклен-старший (1841–1909), прославился в ролях лакеев у Мольера, в роли Фигаро у Бомарше и Сирано де Бержерака у Эдмона Ростана.

на второе место, и чудесное проворство, благодатное оживление, которым оказывался наделен Делоне, способный отступить на четвертое, оплодотворяли и расшевеливали мой мозг, помогали ему ощутить, что он расцветает и живет.

Но если меня так занимали актеры-мужчины, если, увидав Мобана, выходявшего как-то днем из Французского театра<sup>79</sup>, я испытал потрясение и муки любви, то в какое же бесконечное смущение повергало меня имя знаменитой актрисы, плающее у входа в какой-нибудь театр, или в зеркальном стекле проезжавшей по улице кареты, влекомой конями в изукрашенных розами суголовных ремешках, – лицо женщины, про которую я думал, что она, может быть, актриса, и как мучительно и безнадежно силился я вообразить ее жизнь! Я расставлял по степени таланта самых знаменитых: Сару Бернар, Берма, Барте, Мадлен Броан, Жанну Самари<sup>80</sup>,

---

<sup>79</sup> ...выходившего как-то днем из Французского театра... – Французский театр – второе наименование «Комеди Франсез».

<sup>80</sup> ...самых знаменитых... Жанну Самари... – Сара Бернар (наст. имя Розина Бернар) (1844–1923) первого успеха достигла в «Комеди Франсез» в главных ролях у Расина и Гюго; в 1880 г. покинула «Комеди Франсез», купила театр «Ренессанс», где ставила современные пьесы, а в 1899 г. основала «Театр Сары Бернар», где играла классические роли в «Гамлете», в «Есфири» Расина, в драмах Гюго «Анжело, тиран Падуанский» и «Лукреция Борджиа», а также в пьесах современного репертуара. Остальные упомянутые актрисы играли в «Комеди Франсез». Жюлиа Рено (1854–1941), сценический псевдоним мадмуазель Барте, играла главные трагические и комические роли в классическом репертуаре, Мадлен Броан (1833–1900) выступала в амплуа героинь комедии, ее племянница Жанна Самари (1857–1890) – в амплуа субреток. Период, когда рассказчик мог их сравнивать, относится к 1875 (дебют Жанны Самари) – 1885 гг. (уход со сцены

но интересны мне были они все до одной. Так вот, мой дядя знал многих из них, а кроме того, знал кокоток, которых я не вполне отличал от актрис. Они бывали у него дома. И мы навещали его только по определенным дням именно потому, что в другие дни к нему ездили женщины, с которыми его семье никак нельзя встречаться, во всяком случае, так считала семья, потому что дяде, наоборот, ничего бы не стоило оказать такую любезность хорошеньким вдовам, которые никогда не были замужем, графиням с громкими именами, служившими, вероятно, всего лишь псевдонимами, и представить их моей бабушке или даже подарить им фамильные драгоценности, из-за чего у них с дедушкой уже не раз вспыхивали ссоры. Часто, когда в разговоре мелькало имя какой-нибудь актрисы, отец говорил маме с улыбкой: «Приятельница твоего дяди»; и я думал о том, что дядя мог бы избавить такого мальчишку, как я, от многолетнего испытательного срока, которому, быть может, тщетно подвергают себя важные персоны под дверьми подобной женщины, не отвечающей на их письма и приказывающей швейцару гнать их из ее особняка: дядя запросто мог представить меня актрисе, своей доброй приятельнице, недостижимой для многих и многих.

Таким образом, – под предлогом, что у меня изменилось

---

Мадлены Броан). Мы не знаем, когда и в каких постановках видел Пруст Сару Бернар, да и видел ли вообще, но она явно символизирует для него совершенство в театральном искусстве.

расписание, да так неудачно, что я уже несколько раз не смог прийти к дяде в положенный день и еще долго не смогу, – в один из дней, не предусмотренных для наших визитов, я воспользовался тем, что родители завтракали рано, вышел из дому и, вместо того чтобы идти глазеть на афишную тумбу – туда меня отпускали одного, – поспешил к дяде. У его дверей я заметил экипаж, запряженный парой лошадей, у которых шоры были украшены красными гвоздиками, и у кучера была бутоньерка с такой же гвоздикой. С лестницы я услышал смех и женский голос, но, когда позвонил, все стихло, а потом внутри со стуком закрыли дверь. Лакей отворил мне и, казалось, смутился, сказал, что дядя очень занят и, вероятно, не сможет меня принять, но все-таки пошел доложить, и тот же голос, который я слышал раньше, произнес: «Нет, нет! Впусти его! Хоть на минутку, я буду ужасно рада. На той фотографии, что у тебя на бюро, он так похож на мать, на твою племянницу, – это же ее фотография рядом с ним? Мне хочется хоть разок глянуть на этого мальчишку». Слышно было, как дядя ворчал, сердился, и в конце концов лакей меня впустил.

На столе стояла обычная тарелка с марципанами; на дяде был тот же, что всегда, китель, но перед ним, в розовом шелковом платье, с ожерельем крупного жемчуга на шее, сидела молодая женщина и доедала мандарин. Я покраснел от неуверенности, следует ли обращаться к ней «мадам» или «мадмуазель», и, опасаясь даже глянуть в ее сторону из стра-

ха, как бы не пришлось вступить в разговор, подошел поцеловать дядю. Она с улыбкой посмотрела на меня, дядя сказал: «Это мой племянник», не называя меня по имени и не говоря мне, как зовут ее, вероятно, потому, что после всех раздоров с бабушкой он по возможности старался избегать каких бы то ни было соприкосновений между семьей и подобными знакомыми.

– Как он похож на мать, – сказала она.

– Вы же видели мою племянницу только на фотографии, – сразу же мрачно возразил дядя.

– Прошу прощения, мой милый друг, но мы с ней столкнулись на лестнице в прошлом году, когда вы болели. Правда, я видела ее только мельком, а на лестнице у вас так темно, но я разглядела довольно и была восхищена. У этого юноши те же прекрасные глаза, и потом вот это, – сказала она, процертив пальцем линию у себя над бровями. – Скажите, ваша племянница носит то же имя, что вы? – спросила она дядю.

– Он скорее пошел в отца, – пробурчал дядя, который избегал устраивать заочные знакомства, так же как личные, и даже за глаза не хотел произносить мамино имя. – Точь-в-точь отец, а еще напоминает мою бедную матушку.

– С его отцом я незнакома, – сказала дама в розовом, слегка наклонив голову, – и вашей бедной матушки, мой друг, я не знала. Вы же помните, мы познакомились вскоре после того, как вас постигло это тяжкое горе.

Я испытывал легкое разочарование, потому что эта моло-



дая дама не отличалась от других красивых дам, которых я встречал в семье, – например, от дочки одного из наших родственников, у которого я бывал каждый год на первое января. Дядина приятельница была разве что одета получше, но у нее был тот же приветливый и живой взгляд, то же искреннее и любезное выражение лица. Я не находил в ней ничего особенно театрального, восхищавшего меня в фотографиях актрис, ничего демонического, связанного с той жизнью, которую она, по-видимому, вела. Мне трудно было поверить, что это и есть кокотка, и уж тем более я бы не поверил, что это шикарная кокотка, если бы не видел экипаж, запряженный парой лошадей, и розовое платье, и жемчужное ожерелье и если бы не знал, что дядя знался только с дамами самого первого разбора. Но я не мог взять в толк, что за радость тому миллионеру, который подарил ей экипаж, и особняк, и драгоценности, пускать на ветер состояние ради такой простой и благопристойной особы. Однако, думая о том, какую жизнь она, должно быть, ведет, я, пожалуй, смущался при мысли о безнравственности больше, чем если бы она предстала мне в своем явном обличье: меня сбивало с толку, что безнравственность остается незрима, как какой-нибудь давний тайный роман или скандал, из-за которого эта женщина некогда покинула своих добропорядочных родителей и посвятила себя всему свету, расцвела и стала красавицей, возвысилась до положения в полусвете и до известности, – эта женщина, чьи гримаски, интонации я подмечал уже раньше

у многих, с кем был знаком, и на которую поэтому невольно смотрел как на девушку из хорошей семьи, просто оставшуюся без семьи.

Перешли в «кабинет», и дядя, которого явно стесняло мое присутствие, предложил ей папиросы.

— Нет, дорогой, — отвечала она, — вы же знаете, я привыкла к тем, которые мне посылает великий герцог. Я ему говорила, что вы приревнуете. — И она извлекла из портсигара папиросы с надписями золотыми буквами на иностранном языке. — Да нет, — воскликнула она внезапно, — все-таки я встречала у вас отца этого молодого человека! Он же ваш племянник? Как я могла забыть? Какая в нем доброта, какое очарование! — прибавила она со скромным и растроганным видом. Но я подумал о том, как сурово, скорее всего, обошелся с ней отец, в котором она якобы оценила очарование, — уж я-то знал и замкнутость отца, и его холодный тон, — и это несоответствие между преувеличенной благодарностью к нему и недостатком любезности с его стороны обдало меня стыдом, словно отец поступил бестактно. Позже мне показалось, что в этом состоит одно из трогательных свойств той роли, которую играют эти праздные и трудолюбивые женщины: они все подчиняют одной цели — свое великодушие, талант, припрятанные про запас мечты сентиментальной красавицы (ведь они, точно как артистки, не воплощают эти мечты в жизнь, не втискивают их в рамки обыденности), да и золото, которое обходится им недорого, и эта цель — украшать драгоцен-

ной и утонченной оправой грубую и топорно сработанную жизнь мужчины. Вот так и эта, в курительной, где дядя принимал ее, одетый по-домашнему, расточала свое нежное тело, розовое шелковое платье, жемчуга и эту элегантность, которой веяло от дружбы с великим герцогом, и едва она прикоснулась к нескольким незначущим словам моего отца, как тут же осторожно и тонко обработала их, придала им завершенность, драгоценное название, и оправила их взглядом такой чистой воды, с таким оттенком смирения и благодарности, что они превратились в чудо ювелирного искусства, в нечто «совершенно очаровательное».

– Ну ладно, будет, – сказал мне дядя, – тебе пора.

Я встал, мне неодолимо хотелось поцеловать руку даме в розовом, но я воображал, что это была бы дерзость, вроде похищения. Сердце мое билось, пока я гадал: «Поцеловать или не надо?» – но потом я вообще перестал раздумывать, иначе я бы вообще ничего не сделал. И слепым безрассудным движением, отмахнувшись от всех доводов, еще секунду тому назад подтверждавших правильность моего поступка, я поднес к губам руку, которую она мне протянула.

– Какой он милый! И уже галантен, на женщин поглядывает: весь в дядю. Он будет настоящим джентльменом, – добавила она, стиснув зубы, чтобы придать сказанному легкий британский акцент. – А нельзя ли, чтобы он как-нибудь заглянул ко мне выпить *a cup of tea*, как говорят наши соседи англичане? Пускай только предупредит меня утром письме-

цом по пневматичке<sup>81</sup>.

Я не знал, что такое «пневматичка». Я не понимал половины слов, которые произносила дама, но боялся, что среди них прячется какой-нибудь вопрос, на который было бы невежливо не ответить, поэтому продолжал внимательно вслушиваться и от этого сильно устал.

– Нет, об этом не может быть и речи, – сказал дядя, пожимая плечами, – он занят, много работает. Он у себя в классе получает все награды, – добавил он, понизив голос, чтобы я не слышал этой лжи и не принялся ее опровергать. – Кто знает, может быть, это будет новый Виктор Гюго, знаете, или какой-нибудь Волабель<sup>82</sup>.

– Я преклоняюсь перед людьми искусства, – подхватила дама в розовом, – только они и понимают женщин... Они да немногие избранные вроде вас. Простите мое невежество, друг мой. Кто такой Волабель? Это не те тома с позолотой в застекленном книжном шкафу у вас в будуаре? Помните, вы обещали дать их мне почитать, я буду обращаться с ними очень бережно.

---

<sup>81</sup> ...*письмецом по пневматичке*. – Имеется в виду пневматическая почта, которая существовала в Париже с 1866 г. и сначала связывала между собой почтовые отделения; с 1879 г. ею уже могли пользоваться все желающие.

<sup>82</sup> *Ашиль Тенай де Волабель* (1799–1879) – журналист, политический деятель, историк, автор шеститомного труда «История двух Реставраций вплоть до воцарения Луи Филиппа» (1844). В описываемые времена считался образцовым автором для юношества: Симона де Бовуар, например, называет его в своих «Воспоминаниях благовоспитанной девицы» в числе любимых писателей.

Дядя, ненавидевший давать книги, ничего не ответил и повел меня в переднюю. Вне себя от любви к даме в розовом, я покрыл безумными поцелуями пропахшие табаком щеки моего старенького дяди, и пока он с изрядной неловкостью, не решаясь сказать прямо, намекал мне, что ему бы, в сущности, не хотелось, чтобы я рассказывал об этом визите родителям, я объявил ему, со слезами на глазах, что память о его доброте пребудет со мной вечно и что рано или поздно придет день, когда я сумею на деле доказать ему свою благодарность. И впрямь, благодарность так прочно запечатлелась у меня в душе, что спустя два часа я сперва проронил при родителях одну-другую загадочную фразу, но мне показалось, что мои слова недостаточно внятно объясняют, каким новым величием я отныне осенен, и тогда я решил, для большей ясности, рассказать в малейших подробностях о моем недавнем визите. У меня и в мыслях не было доставить этим неприятности дяде. С какой стати, я же этого совсем не хотел. И я понятия не имел, что родители не одобряют визит, в котором я сам не видел ничего плохого. Разве не случается сплошь и рядом, что какой-нибудь друг просит нас непременно передать его извинения общей знакомой, которой он сам не может написать из-за каких-то помех, а мы пренебрегаем этой просьбой, потому что сами не придаем значения его молчанию, а значит, думаем мы, и для этой знакомой оно не может быть важным. Я, как все, воображал, что чужой мозг — это пустой и послушный сосуд, что он не спосо-

бен как-то по-своему откликаться на то, чем его наполняют; я и не подозревал, что, внедряя в головы родителей известие о том, с кем я познакомился у дяди, не сумею одновременно, как мне хотелось, передать им благоприятное суждение об этом знакомстве, которое вынес я сам. К несчастью, родители, оценивая дядин поступок, опирались на совершенно иные принципы, чем те, которые я пытался им внушить. Отец и дедушка гневно с ним объяснились; мне об этом стало известно стороной. Несколько дней спустя я на улице повстречал дядю, ехавшего в открытом экипаже, и на меня нахлынули горе, благодарность, угрызения совести, в которых я так хотел бы ему признаться. Рядом с их огромностью, понял я, простой поклон покажется жалким, и дядя может подумать, что я считаю, будто мой долг перед ним сводится к банальной вежливости. Я решил воздержаться от этого бесполезного жеста и отвернулся. Дядя подумал, что я это сделал по указу родителей, и так и не простил им этого; ни с кем из нас он больше не виделся до самой смерти, а умер он годы спустя.

Поэтому я больше не входил в комнату дяди Адольфа, стоявшую теперь на запоре, и мешкал на задворках кухонной пристройки, пока Франсуаза, появившись в преддверии своего храма, не скажет: «Сейчас моя судомойка вам кофе подаст и горячую воду наверх отнесет, а я пошла к госпоже Октав», а после решал идти домой и поднимался прямо к себе в комнату читать. Судомойка была юридическим ли-

цом, постоянно действующим институтом, которому неизменные функции сообщали определенный характер и обеспечивали преемственность, – менялось только ее преходящее обличье: дольше года ни одна у нас не держалась. В год, когда мы так часто ели спаржу, судомойкой, которой обычно поручалось ее чистить, было несчастное хилое создание, и, когда мы приехали на Пасху, эта судомойка была на довольно позднем сроке беременности, так что мы даже удивлялись, зачем Франсуаза столько гоняет ее по хозяйству и с поручениями, ведь ей уже делалось трудно носить перед собой таинственную, с каждым днем все наполнявшуюся корзинку, великолепная форма которой угадывалась под просторной рабочей кофтой. Эта кофта напоминала накидки, окутывающие символические фигуры на картинах Джотто<sup>83</sup>, – фотографические копии с этих картин подарил мне г-н Сванн. Он и открыл нам глаза на это сходство и, имея в виду нашу судомойку, спрашивал: «Как поживает „Милосердие“ Джотто?»<sup>84</sup> Впрочем, и сама она, бедняжка, растолстевшая от бе-

---

<sup>83</sup> *Джотто ди Бондоне* (1266 или 1267–1337) – итальянский живописец. Пруст заинтересовался его творчеством под влиянием английского мыслителя и теоретика искусства Джона Рёскина (1819–1900), чьи книги изучал и переводил со второй половины 1890-х гг.

<sup>84</sup> ...спрашивал: «Как поживает „Милосердие“ Джотто?» – Имеется в виду одна из фресок с изображениями Добродетелей и Пороков, которыми Джотто расписал капеллу дель Арена (капеллу Скровеньи) в Падуе. Они изображают семь Добродетелей: Благоразумие, Отвагу, Умеренность, Справедливость, Веру, Милосердие, Надежду, и семь Пороков: Безумие, Непостоянство, Гнев, Несправедливость, Вероломство, Зависть и Отчаяние (см.: *Рёскин Дж.* Джотто и его рабо-

ременности так, что даже лицо раздалось, даже щеки стали отвислыми и квадратными, в самом деле очень напоминала этих девственниц, дюжих и мужеподобных, скорее матрон, а не девиц, в образе которых воплощены Добродетели в Капелла дель Арена. И теперь мне ясно, что падуанские Добродетели и Пороки были похожи на нее еще в одном отношении. Образ девушки возвеличивался благодаря добавлению к нему этого символа, который она несла перед собой в животе, но сама она явно не понимала, что этот символ значит, носила его как простое и неуклюжее бремя, и лицо ее нисколько не отражало его красоты и смысла, – вот так и дюжая хозяйка, запечатленная в Капелла дель Арена под именем «Caritas», репродукция с которой висела у меня в Комбре на стене в классной комнате, воплощает эту добродетель, сама о том не догадываясь, и в ее волевом и заурядном лице, вероятно, сроду не проглядывало ни тени милосердия. В согласии с прекрасным замыслом художника она попирает ногами сокровища земные, – но все это с таким видом, будто просто мнет ногами виноград, выгоняя из него сок, или, еще вернее, будто взобралась на мешки, чтобы стать выше; и свое пылающее сердце она протягивает Богу, или даже не протягивает, а просто передает, как кухарка передает из подпола штопор кому-то, кто просит ее об этом, свесившись из окна первого этажа. В лице у Зависти тем более, ка-

---

ты в Падуе). В 1900 г. Пруст побывал в Падуе по следам Рёскина и осматривал эти фрески.



залось бы, должна читаться некоторая зависть. Но и на этой фреске символ занимает столько места и изображен с таким реализмом, змея, свистящая у губ Зависти, такая толстая и так плотно заполняет ее широко разинутый рот, что лицевые мускулы Зависти растянулись, как у ребенка, надувающего шарик, и все ее внимание – и наше тоже – устремлено на ее губы, так что ей вообще некогда предаваться завистливым мыслям.

Несмотря на то что г-н Сванн так восхищался этими фигурами Джотто, я долго не находил ни малейшего удовольствия в том, чтобы в нашей классной комнате, где висели подаренные им копии, разглядывать это немилосердное Милосердие, эту Зависть, похожую на рисунок из учебника по медицине, иллюстрирующий сужение голосовой щели или язычка не то при опухоли языка, не то при введении в горло хирургического инструмента, эту Справедливость, чье землистое, убого правильное лицо точь-в-точь напоминало лица кое-каких красивых обывательниц нашего Комбре, которых я встречал у обедни, набожных, черствых, – многие из них были заранее зачислены в запас армии Несправедливости. Но позже я понял, что поразительная особенность и неповторимая красота этих фресок состояла как раз в том, что символ хоть и занимал в них так много места, но изображался не как символ – ведь мысль, которую он воплощал, ни в чем не выражалась, – а как нечто реальное, по-настоящему пережитое или вещественно осязаемое, и придавал значению

фрески большую достоверность и точность, а ее поучению большую плотность и яркость. Вот и у бедной нашей судомойки заметней всего был именно ее отягощенный бременем живот; так мысли умирающих нередко устремляются ко всему телесному, болезненному, темному, утробному, именно к той изнанке, которую смерть как раз и являет им, грубо вызывая к их ощущениям, а ведь эта изнанка гораздо больше похожа на невыносимую тяжесть, удушье, жажду, чем на то, что зовется у нас идеей смерти.

Наверное, в этих падуанских Пороках и Добродетелях и впрямь было много реализма, потому что они казались мне ничуть не менее живыми, чем беременная служанка, а сама она представлялась мне такой же аллегоричной, как они. И может быть, это неучастие (по крайней мере, кажущееся) души человека в добродетели, орудием которой он служит, обретает, помимо своей эстетической ценности, какую-то не психологическую даже, а скорее, я бы сказал, физиономическую достоверность. Позже, когда мне случалось в жизни встречать, например в монастырях, воистину живые воплощения деятельного милосердия, они обычно оказывались бодрыми, рассудительными, равнодушными и резкими, как хирург, которому вечно некогда, и на лицах у них не заметно было ни малейшего сочувствия, никакого умиления людским страданием, никакого страха причинить боль; это было лишненное всякой кротости, непривлекательное и исполненное высокого значения лицо истинной доброты.

Пока судомойка – невольно оттеняя блистательное превосходство Франсуазы, как Заблуждение, по контрасту, придает пуший блеск торжеству Истины, – подавала кофе, который, по маминому мнению, был просто горячей водой, а потом относила к нам в спальни горячую воду, на деле едва теплую, я растягивался с книжкой в руках на постели у себя в комнате, трепетно хранившей от послеполуденного солнца свою прозрачную хрупкую прохладу за неплотно притворенными ставнями, между которых солнечный блик все-таки ухитрялся протиснуть свои желтые крылышки и застревал между деревом и стеклом в углу, как уснувшая бабочка. Света едва хватало для чтения, и ослепительность солнца я чувствовал только по стуку, доносившемуся с Приходской улицы, где Камю (которого Франсуаза предупредила, что тетя «не отдыхает» и можно шуметь) заколачивал пыльные ящики, и этот стук, разносясь в таком гулком воздухе, какой бывает только в жару, казалось, рассыпал далеко во все стороны алые звезды, а еще по тому, как мухи разыгрывали для меня свой негромкий концерт, свою летнюю камерную, нет, комнатную музыку; такая музыка наводит нас на мысли о лете по-другому, чем человеческая, которая, если случайно услышать ее впервые в погожее время года, позже будет нам о нем напоминать; а эта связана с летом теснее и неразрывнее; рожденная из погожих дней, воскресающая только с ними, напитанная капелькой их субстанции, она не только пробуждает их образ у нас в памяти, она удостоверя-

ет, что они здесь, рядом, они вернулись и доступны нам в любую минуту.

Эта сумрачная прохлада моей комнаты относилась к яркому солнцу на улице, как тень относится к солнечному лучу: она была так же светоносна и разворачивала перед моим воображением полную картину лета, которой мои органы чувств, пойдя я на прогулку, сумели бы насладиться только по частям; а кроме того, прохлада хорошо гармонировала с блаженным чувством покоя: колеблемое приключениями, о которых рассказывалось в книжках, оно, несмотря ни на что, бестрепетно выдерживало толчки и напор бурного потока событий, – в таком покое находится рука, опущенная в проточную воду. Но бабушка, даже если погода вдруг портилась, налетала гроза или просто начинало накрапывать, приходила ко мне и уговаривала идти погулять. И, не желая отрываться от книги, я, так и быть, уходил читать в сад, под каштан, в маленькую плетеную беседку, и забивался вглубь, где чувствовал себя укрытым от чужих глаз, если к родителям придут гости.

И разве моя мысль не была похожа на этот закуток – и разве я не чувствовал, что даже когда я из него выглядываю, я все равно сижу в самой его глубине? На какой бы посторонний предмет я ни смотрел, между мною и этим предметом оставалось понимание того, что я его вижу; оно окружало этот предмет какой-то тоненькой нематериальной каемкой, никогда не дававшей мне по-настоящему до него дотронуть-

ся; его вещество как будто растворялось в воздухе прежде, чем я к нему прикасался: так раскаленное тело, когда поднесешь его к чему-нибудь мокрому, не касается влаги, потому что всегда окружено зоной, в которой вся влага испаряется. На радужном экране, отражавшем разнообразные состояния, мгновенно вспыхивавшие в моем уме, пока я читал, — от самых глубоко запрятанных внутри меня надежд и до совершенно внешних впечатлений вроде вида, открывавшегося моим глазам за пределами сада, — самым первым и главным во мне, самым потаенным, тем непрерывно движущимся рычажком, который управлял всем остальным, была моя вера в философскую ценность и красоту книги, которую я читал, и жажда всем этим овладеть, причем не важно было, что за книга. Даже если я купил ее в Комбре, заметив в бакалейной лавке Боранжа, которая была слишком далеко от дома, так что Франсуаза не ходила туда за покупками, как к Камю, но зато там продавалось больше писчебумажных товаров и книг, — даже если я купил ее там, в лавке, где эта книга была подсунута под общую тесемку в мозаике брошюр и подписных изданий, ковром покрывавших обе створки двери, таинственной и напитанной мыслями, как соборный портал, все равно это значило, что я узнал в ней ту самую книжку, на которую обратил мое внимание учитель или товарищ, владевший, как мне в то время представлялось, секретом истины и красоты, полуугаданных мною, полунепостижимых, и смутной, но неизменной целью моих размышлений было

постичь этот секрет.

За этой моей основной верой, которая, пока я читал, непрестанно рвалась из меня наружу, к постижению истины, следовали эмоции, разбуженные во мне действием, в котором я соучаствовал: ведь на эти послеобеденные часы выпадало больше драматических событий, чем подчас случается за всю жизнь. Эти события разыгрывались в книге, которую я читал; правда, герои, с которыми они происходили, были, как говорила Франсуаза, «ненастоящие». Но все чувства, которые мы переживаем под влиянием радостей или невзгод настоящего живого человека, возникают в нас лишь благодаря нашему представлению об этих радостях или невзгодах; в этом и состояло открытие первого романиста: он догадался, что в механизме наших эмоций главным и важнейшим элементом является наше представление о чем-то, поэтому, если попросту убрать из повествования реальных персонажей, это существенно улучшает дело. Потому что как бы хорошо мы ни понимали некоего живого человека, мы воспринимаем его в основном через наши собственные ощущения, то есть сам человек остается для нас непроницаем, для наших чувств это – мертвый груз. Если на него обрушилась беда, то мы осознаём это лишь какой-то небольшой частью того общего представления, которое у нас о нем сложилось, более того – в нем самом тоже оказывается затронута лишь малая часть того представления, какое у него имеется о самом себе. Находка же первого романиста состояла в

том, чтобы заменить области, недоступные для постижения, таким же количеством нематериальных составляющих, причем таких, с которыми наша душа может себя отождествить. И вот уже совершенно неважно, что поступки и чувства этих существ новой породы только кажутся нам настоящими: мы ведь воспринимаем их как наши собственные, они происходят в нас самих и, пока мы лихорадочно листаем страницы книги, управляют и частотой нашего дыхания, и пристальностью нашего взгляда. И как только по милости романиста мы придем в это состояние, в котором у нас, как при любом уходе в себя, многократно усиливаются все чувства, когда его книга начинает томить нас, как сновидение, разве что сновидение более четкое, чем во сне, и лучше запоминающееся, – вот тогда он и развязывает в нас на часок-другой все мыслимые радости и горести, которые нам удалось бы пережить разве что за долгие годы жизни, а самые глубокие из них не открылись бы нам никогда, потому что та медлительность, с которой они к нам приходят, не позволяет нам их заметить (и наше сердце меняется с течением жизни, и это горше всего; но это горе мы узнаём, только пока читаем, в воображении: в жизни сердце меняется так же медленно, как протекают иные природные явления – мы в силах разве что отмечать одно за другим разные его состояния, но зато избавлены от самого ощущения перемен).

Затем, уже на меньшую глубину, чем жизнь книжных героев, в меня проникал набросок пейзажа, того, в котором

разворачивалось действие; он влиял на мою мысль куда сильнее, чем другой пейзаж, представавший глазам, когда я отрывал их от книги. Так два лета подряд я в овечьем жаро́й комбре́йском саду, над книгой, которую тогда читал, томился по гористой и речной стране, где на каждом шагу попадаются лесопилки, а на дне прозрачных вод гниют бревна, окруженные зарослями дикого кресса; а рядом вдоль низких оград вздымаются грозди лиловых и багряных цветов. И в эти два лета постоянно жившая у меня в мыслях мечта о женщине, которая меня полюбит, была проникнута прохладой ручьев и рек; и как бы ни рисовало мне воображение эту женщину, которую я мысленно призывал, по обе стороны от нее, как дополнительные цвета<sup>85</sup>, сразу вырастали лиловые и багряные грозди<sup>86</sup>.

И дело было не только в том, что образ, о котором мы мечтаем, всегда отмечен, приукрашен и обласкан отблеском по-

---

<sup>85</sup> ...как дополнительные цвета... – Дополнительными считаются два цвета – например, красный и голубовато-зеленый, оранжевый и голубой, желтый и синий, зеленовато-желтый и фиолетовый или зеленый и пурпурный, – звучание которых при сопоставлении усиливается, а их смешение воспринимается как белый цвет. Эта особенность дополнительных цветов широко использовалась импрессионистами для создания особого мерцающего эффекта.

<sup>86</sup> ...томился по гористой и речной стране... сразу вырастали лиловые и багряные грозди. – Описание книги, которую читает герой, представляет собой, вероятно, мозаику впечатлений от разных произведений. Из набросков ясно, что действие происходит в горах Юра. Основной источник этого отрывка – описание весны в Юра у Рёскина. Цветы, далее, вероятно, связаны с романом Бальзака «Лилия в долине».



сторонних красок, по случайному совпадению окружающих его в наших мечтах; ведь пейзажи из книг, которые я читал, были для меня не просто пейзажами, которые мое воображение представило мне ярче тех, что были у меня перед глазами в Комбре, пускай другими, но такими же, как те. Оттого, что автор выбрал именно эти пейзажи, и оттого, что моя мысль тянулась к его рассказу доверчиво, как к откровению, они казались мне (в отличие от наших мест и особенно нашего сада, бесхитростного плода благопристойной фантазии садовника, которую так презирала бабушка) неповторимой частью самой Природы, достойной наблюдения и изучения.

Если бы родители разрешили мне всякий раз, когда я читаю книгу, совершать путешествие в те края, которые в ней описаны, я бы решил, что сделал неоценимый шаг вперед в постижении истины. Мы чувствуем, что наша душа всегда окружает нас, но мы не заточены в ней, как в неподвижной тюрьме: скорее, мы все время стремимся куда-то вместе с нею, вечно рвемся за ее пределы, жаждем достичь внешнего мира, и нас все время томит какое-то отчаяние, и все время нам слышится один и тот же гул, но это не эхо наружных шумов, а отзвук внутренней дрожи. Мы пытаемся в самых разных вещах вновь уловить тот отблеск, которым озарила их наша душа, ведь именно этим они нам и дороги; но, разочарованные, убеждаемся, что в жизни они лишены той прелесть, которой в наших мыслях наделило их соседство с определенными идеями; а иногда мы хотим повлиять на друго-

го человека, и вот мы напрягаем все силы этой самой души, чтобы стать ловкими, блестящими, – и ясно чувствуем, что этот другой находится вне нас и нам никогда до него не добраться. Так, если я всегда воображал вокруг любимой женщины те края, которые были мне в тот миг желанней всего, то мне хотелось попасть туда по ее воле, хотелось, чтобы именно она увлекла меня в незнакомый мир, и объяснялось это не простой ассоциацией идей; нет, это были ключом все мои жизненные силы, и мои мечты о путешествии и о любви были только мгновениями в этом постоянном и неизменном течении жизни – мгновениями, которые сегодня я искусственно отделяю одно от другого, словно рассекаю на разной высоте радужную и мнимо неподвижную струю фонтана.

Наконец, продолжая отслеживать – от самого глубокого слоя до внешнего – разные состояния моей души, накладывающиеся одно на другое у меня в сознании, я, прежде чем добраться до черты горизонта, где они граничат с реальностью, обнаруживаю радости иного рода: уютно сидеть, дышать воздухом, полным вкусных запахов, и чтобы никакие гости не мешали; а когда раздастся трезвон на колокольне Св. Илария, – видеть, как падает, ломоть за ломтем, запас истраченного дневного времени, пока до моего слуха не донесется последний удар, после которого я смогу подвести им итог, а после наступит долгая тишина, как будто началась в голубом небе последняя порция, отпущенная мне на чтение вплоть до вкусного обеда, который стряпает Франсуаза, а по-

том и обед подкрепит меня, уставшего поспевать за героем книги. И с каждым часом мне казалось, что прошлый колокольный звон раздавался всего несколько мгновений назад; самый недавний пристраивался в небе вплотную к предыдущему, и я не мог поверить, что в этой маленькой голубой дуге, зажатой между двумя золотыми отметинами, уместились шестьдесят минут. Иногда следующий час отбивали не только раньше, чем я ожидал, но еще и звонили на целых два удара больше, чем в прошлый раз; значит, один звон я пропустил, значит, что-то происходило, но не для меня; интерес к чтению охватил меня, как глубокий сон: мой одержимый слух был направлен на другое, и золотой колокол оказался стерт с лазурной поверхности тишины. Прекрасные воскресные дни под каштаном в комбрейском саду, заботливо очищенные мной от заурядных случайностей моего собственного существования, которые я заменял жизнью, полной приключений и удивительных чаяний на лоне земли, орошенной ручьями и реками, — когда я о вас думаю, вы по-прежнему воскрешаете ту жизнь в моей памяти и храните ее в себе, потому что в свое время вы постепенно обступали ее и, пока я читал дальше, а дневная жара спадала, вбирали эту жизнь в медленно меняющийся и пронизанный листвой непрерывный хрусталь ваших молчаливых, звучных, душистых и прозрачных часов.

Иногда среди бела дня меня отрывала от чтения садовника дочка: она неслась сломя голову, опрокидывала по до-

роге апельсинное дерево в кадке, ранила себе палец, ломала зуб и кричала: «Идут! Идут!» – чтобы мы с Франсуазой прибежали скорей и ничего не упустили из предстоящего зрелища. Это бывало в те дни, когда через Комбре шли на маневры войска гарнизона, обычно по улице Св. Хильдегарды. Покуда наши слуги, сидя в ряд на выставленных за оградой стульях, смотрели на воскресную гуляющую публику и сами перед ней красовались, садовникова дочка в зазоре между двумя дальними домами на Вокзальном проспекте успевала заметить сияние касок. Слуги торопливо уносили за ограду свои стулья, потому что, когда кирасиры шли по улице Св. Хильдегарды, они занимали всю ее ширину, и конский галоп, задевая за стены домов, наполнял тротуары, затопляя их, как берега реки, когда разъяренный поток несется по ее слишком узкому ложу.

«Бедные ребята, – говорила Франсуаза, едва, бывало, успев дойти до ограды и уже в слезах, – бедная молодежь, выкосят ее, как траву в поле, подумаешь, так прямо сердце заходится», – добавляла она, прижимая руку к груди, где заходило сердце.

«До чего ж хороши эти юноши, и жизнь-то им не дорога, правда, сударыня?» – подзуживал садовник.

Его слова не пропадали даром.

«Жизнь не дорога? Да чем же еще дорожить, как не жизнью, единственным, чего Господь Бог другой раз не подарит. Ох ты боже мой, что правда, то правда: они этим подарком не

дорожат. Видала я таких в семидесятом году: в этих подлых войнах они совсем растеряли страх смерти; полоумные, одно слово; а после их уже ни к какому делу не приставишь, не мужчины, а львы какие-то». (Франсуаза произносила: «ливы» и, с ее точки зрения, ничего лестного для людей в этом сравнении не было.)

Улица Св. Хильдегарды так петляла, что издали не разглядеть было, кто по ней движется, и только в зазор между двумя домами на Вокзальной улице виднелись все новые каски, прибывавшие и блестевшие на солнце. Садовнику было любопытно, много ли их там еще идет; ему хотелось пить, потому что солнце припекало. Тогда его дочка внезапно, словно решившись на вылазку из осажденной крепости, срывалась с места, добежала до угла и, сотню раз рискуя жизнью, возвращалась с пузатой бутылкой лакричной воды и с вестью, что там еще не меньше тысячи человек идут и идут со стороны Тиберзи и Мезеглиза. Франсуаза и садовник, придя к соглашению, обсуждали, как следует себя вести в случае войны.

– Знаете, Франсуаза, – говорил садовник, – революция все-таки лучше войны: когда ее объявляют, на нее идут только те, кто сам хочет.

– Ох, и впрямь, так оно честнее.

Садовник считал, что сразу после объявления войны отменяют все поезда.

– Еще бы, хотят, чтобы никто не сбежал, – говорила Франсуаза.

А садовник подхватывал:

– Да уж, такие умники, – потому что, по его убеждению, война была хитрой ловушкой, которую государство пыталось подстроить народу и от которой, если бы можно было, все бы рады были разбежаться кто куда.

Но Франсуаза уже спешила назад к тете, я возвращался к книге, слуги опять устраивались у ворот и глядели, как оседает пыль и утихает переполох, поднятые проходившими солдатами. И долго еще после того, как все успокаивалось, на улицах было темно от необычайного скопления гуляющих. Перед каждым домом, даже там, где это было совершенно не принято, сидели и глазели слуги, а кое-где и хозяева, украшая собой порог, словно причудливая темная кайма, напоминающая тот черный узорный креп из водорослей и ракушек, что остается на берегу после сильного прилива.

Но в обычные дни, напротив, ничто не мешало моему чтению. Только однажды оно было нарушено приходом Сванна и его замечанием по поводу книги нового для меня автора, Берготта<sup>87</sup>, которую я тогда читал, и долго после этого образ женщины, о которой я мечтал, возникал передо мной не как

---

<sup>87</sup> ...по поводу книги нового для меня автора, Берготта... – Фигура Берготта часто провоцирует читателей и критиков на поиски реального прототипа; на самом деле этот персонаж объединяет в себе черты нескольких реальных писателей. Среди них Рёскин, Анна де Ноай, Ренан и другие, но главным образом это, конечно, Анатоль Франс: от него у Берготта и гармония стиля, и характерная для манеры раннего Франса кроткая, умиленная интонация, и склонность к обращениям и призывам. Внешне Берготт тоже напоминает Анатоля Франса.

раньше, на фоне стены, украшенной фиолетовыми веретенообразными цветами, а совершенно на другом фоне, перед порталом готического собора.

Впервые я услышал о Берготте от Блока<sup>88</sup>, товарища, который был старше меня и вызывал у меня огромное восхищение. Когда я признался ему, что в восторге от «Октябрьской ночи», он разразился оглушительным трубным хохотом и сказал: «Остерегайся раболепного преклонения перед съёром де Мюссе<sup>89</sup>. Субъект он весьма вредный и опасная бес-тия. Хотя должен признаться, что и он, и некий Расин, оба за жизнь написали по одной недурной строчке, с интересным ритмом, а главное – и для меня так это наивысшее достоинство – обе совершенно бессмысленные. Это: „Белеющий

---

<sup>88</sup> *Впервые я услышал о Берготте от Блока...* – Блок – один из немногих персонажей романа, который будет сопровождать героя вплоть до «Обретенного времени», появляться в тех же местах и в той же среде, что герой, и всегда противостоять ему. В то же время Пруст передал Блоку и некоторые свои человеческие черты и литературные пристрастия. Как видно из черновиков, с самого начала Блок – страстный приверженец Теофиля Готье, парнасец; затем он становится глашатаем Берготта.

<sup>89</sup> *Когда я признался ему... перед съёром де Мюссе.* – Мюссе, с его притязаниями на глубоко личную лирику, противоположен парнасским установкам, за которые ратует Блок. «Октябрьская ночь», стихотворение об одиночестве, внутреннее разрывом с Жорж Санд, представляет собой идеальную цель для его нападков. Рассказчик, напротив, восхищается Мюссе так же, как восхищался им в отрочестве сам Пруст. Интересно, что «Ночи» Мюссе не только в восьмидесятые годы позапрошлого века, но и много позже считались чтением, подходящим для подростков: вот и Симона де Бовуар вспоминает, что из всего Мюссе ей в отрочестве разрешалось читать только их.

Камир и белый Олооссон“<sup>90</sup> и „Она дочь Миноса, она дочь Пасифаи“<sup>91</sup>. Меня на них навела и примирила с этими двумя прохвостами статья моего обожаемого мэтра, папаши Леконта<sup>92</sup>, угодного бессмертным богам. Кстати, вот книга, читать ее мне сейчас некогда, но этот выдающийся человек ее вроде бы рекомендует. Мне говорили, что автора, съёра Берготта, он почитает за субъекта весьма утонченного; его слово для меня – дельфийский оракул, хотя временами он проявляет довольно-таки необъяснимое благодушие. Почитай-ка эту лирическую прозу, и если великий чеканщик ритмов, создатель „Бхагавата“ и „Борзой Магнуса“<sup>93</sup>, сказал правду, то, клянусь Аполлоном, ты, дорогой мэтр, насладишься некта-

---

<sup>90</sup> ...«Белеющий Камир и белый Олооссон»... – Камир (Камеирос) – древний город на западном побережье Родоса, Олооссон – в окрестностях горы Монте-Альбано на территории современной Италии. Строка Мюссе, которую приводит Блок, заимствована из стихотворения «Майская ночь» (приводим фрагмент в дословном пер. и в пер. В. Набокова): И голубой Титаресий, и серебряный залив, Который являет в своих водах, где отражается лебедь, Белый Олооссон белому Камиру.... И – чище серебра и неба голубей – Залив, где лебедь спит, один в зеркальном мире, И снится белый сон белеющей Камире.

<sup>91</sup> ...«Она дочь Миноса, она дочь Пасифаи». – Цитата из трагедии Расина «Федра» (дейст. 1, явл. 1; пер. М. Донского).

<sup>92</sup> ...моего обожаемого мэтра, папаши Леконта ... – Леконт де Лиль (наст. имя Шарль-Мари Леконт; 1818–1894) – поэт, глава парнасской школы. Он осуждал лирические излияния и проповедовал поиск формальной красоты, без оглядки на полезность или мораль.

<sup>93</sup> «Бхагават» – стихотворение Леконта де Лиля из сб. «Античные стихотворения» (1852), «Борзая Магнуса» – из его же сб. «Трагические стихотворения» (1884).



ром олимпийских богов»<sup>94</sup>. Еще раньше он с иронией в голосе попросил меня обращаться к нему «дорогой мэтр» и так же стал называть и меня. На самом-то деле нам очень даже нравилась эта игра, потому что мы еще не совсем вышли из возраста, когда веришь, что называть – то же самое, что созидать.

К сожалению, я не мог побеседовать с Блоком и попросить, чтобы он объяснил мне то, что сильно меня смущало (ведь я-то ожидал, что прекрасные стихи откроют мне истину, ни больше ни меньше), а именно – почему стихи еще прекраснее, если они совершенно бессмысленны. Дело в том, что Блока больше в дом не приглашали. Сперва его приняли неплохо. Правда, дедушка утверждал, что всякий раз, стоит мне подружиться с каким-нибудь мальчиком ближе, чем с другими, и привести его в дом, он непременно окажется евреем, причем в принципе дедушка ничего не имел против – даже его друг Сванн был еврейского происхождения, – он просто считал, что среди евреев обычно я выбираю не лучших. И вот, когда я приводил нового друга, он редко удерживался от того, чтобы не напеть «О Бог наших отцов» из «Жидовки»<sup>95</sup> или «Израиль, порви свои цепи»<sup>96</sup>, без слов,

---

<sup>94</sup> ...*угодного бессмертным богам. <...> нектаром олимпийских богов.* – В языке Блока мифологические метафоры заимствованы, возможно, из переводов Гомера, выполненных Леконтом де Лилем. Интересно, что тот же вычурный, напитанный мифологическими клише стиль присущ письмам юного Пруста.

<sup>95</sup> ...*чтобы не напеть «О Бог наших отцов» из «Жидовки»*... – «Жидовка» – опера в пяти актах Фроменталья Галеви по либретто Эжена Скриба (1835). Хор,

разумеется (ти-ра-рам, та-рам, тарим), но я боялся, что товарищ узнает мотив и вспомнит слова.

Еще не видя их, только слыша имя, в котором часто не было ничего особо иудейского, он догадывался не только об иудейском происхождении тех моих друзей, которые в самом деле были иудеями, но даже о том, что в родне у гостя не все в этом смысле слава богу.

– И как же зовут этого твоего друга, который к нам сегодня придет?

– Дюмон, дедушка.

– Дюмон? Ну, не знаю, не знаю... – И он затягивал:

Стрелки, глядите зорче!

На страже стойте в тишине...

А потом искусно вворачивал несколько более точных вопросов и восклицал: «На страже! На страже!» – или, если ничего не подозревающая жертва уже прибыла и он в ходе замаскированного допроса успел незаметно исторгнуть у нее признание относительно ее происхождения, тогда, чтобы показать нам, что все ясно, дедушка довольствовался тем, что,

---

который цитирует дедушка рассказчика, относится ко второму акту. Пруст, кстати, был близко знаком с дочерью Галеви, Женевьевой Строс (предыдущим браком замужем за композитором Жоржем Бизе), и с его внуком Жаком Бизе.

<sup>96</sup> «Израиль, порви свои цепи» – ария Самсона из первого акта лирической драмы Камилля Сен-Санса «Самсон и Далила» по либретто Фердинана Лемера. Опера написана в 1877 г., поставлена в Париже в 1890 г.

глядя на нас, еле слышно мурлыкал:

Несмелого израэлита  
Сюда не вы ли привлекли?

Или:

Земля отцов, о милый дол Хеврона<sup>97</sup>,

или:

Да, мое богоизбранно племя.

В этих маленьких дедушкиных заскоках не было никакой неприязни по отношению к моим товарищам. Но Блок не понравился моим родным по другим причинам. Для начала он вывел из себя отца, который, видя, что он промок, с интересом спросил:

– Что там творится на дворе, господин Блок, разве шел дождь? Ничего не понимаю, барометр показывал превосходную погоду.

И вот что он получил в ответ:

– Я не могу с уверенностью вам сказать, был дождь или

---

<sup>97</sup> *Земля отцов, о милый дол Хеврона...* – ария Иосифа из первого акта оперы «Иосиф» французского композитора Этьена-Никола Меюля (1763–1817). Новая постановка этой оперы была осуществлена в «Гранд-опера» в 1899 г. Источники двух предшествующих и последующей цитат не установлены.

нет. Я живу настолько вне второстепенных физических обстоятельств, что органы моих чувств просто не дают себе труда их замечать.

– Послушай, сынок, да он же дурак, этот твой друг, – сказал мне отец, когда Блок ушел. – Куда это годится: даже не способен сказать, какая погода на дворе. Да что может быть интереснее этого! Просто болван.

Потом Блок не угодил бабушке, потому что после обеда, когда она сказала, что ей нездоровится, всхлипнул и утер слезы.

– Согласись, это не может быть искренне, он же меня совсем не знает, – сказала мне бабушка, – или у него не все дома.

Наконец он вызвал всеобщее неудовольствие тем, что, придя на обед с опозданием в полтора часа и весь в грязи, он вместо извинений сказал:

– Я никогда не поддаюсь влиянию атмосферных перипетий и условного подразделения времени. Я бы охотно вернул в обиход трубки с опиумом и малайские кинжалы, но мне неведомо назначение таких бесконечно более губительных, хотя и пошло буржуазных вещей, как часы и зонтик.

Он бы все равно приехал в Комбре опять. Конечно, не такого друга желали для меня родители; правда, в конце концов они решили, что слезы, которые он пролил из-за бабушкиного недомогания, были непритворными; но инстинктивно или по опыту они знали, что всплески нашей чувствитель-

ности не очень-то влияют на то, как мы поступаем, и на весь ход нашей жизни и что для исполнения нравственных обязательств, для верности друзьям, для труда, для соблюдения режима более надежным фундаментом оказываются слепые привычки, чем мгновенные, пылкие и бесплодные порывы. Вместо Блока они бы хотели для меня таких товарищей, которые давали бы мне не больше, чем положено уделять друзьям по правилам буржуазной морали, которые не посылали бы мне ни с того ни с сего корзину фруктов, потому что в этот день они думали обо мне с нежностью, и пускай бы эти товарищи не умели, уступив фантазии или растрогавшись, склонить в мою пользу неподкупную чашу весов, взвешивающих долги и требования дружбы, но уж зато бы они и не перекашивали ее еще больше мне в ущерб. Идеальным примером таких натур, которые, даже видя нашу неправоту, не в силах отказать нам в том, что нам причитается, могла служить моя двоюродная бабушка, которая многие годы была в ссоре с племянницей и никогда с ней не разговаривала, но не изменяла своего завещания, в котором оставила ей все, что имела, потому что это ведь была ее ближайшая родственница и так «полагалось».

Но я любил Блока, родители хотели меня порадовать, неразрешимые вопросы о бессмысленной красоте дочери Миноса и Пасифаи изводили меня, и вреда от этого оказывалось больше, чем было бы от новых разговоров с Блоком, хоть мама и считала, что эти разговоры мне не на пользу. И

Блока принимали бы в Комбре и дальше, если бы после того обеда он не поведал мне – эта новость впоследствии сильно повлияла на мою жизнь, добавив в нее счастья, а потом горя, – что у женщин только любовь на уме и сопротивление любой из них можно сломить, а потом не поделился со мной слухом, будто у моей двоюродной бабушки была бурная молодость и она открыто жила у кого-то на содержании. Я не удержался и пересказал эти речи родителям; в следующий раз, когда Блок появился, его выставили за дверь, а позже, когда я подошел к нему на улице, он обдал меня холодом.

Но насчет Берготта он сказал верно.

Первые дни все то, что потом я так полюбил в его стиле, словно музыкальный мотив, который позже вы будете обожать до безумия, но теперь еще не расслышали как следует, как-то до меня не доходило. Я читал его роман и не мог оторваться, но воображал, что меня интересует только сюжет, – так в первые мгновения любви стараешься ежедневно встречаться с женщиной на людях, там, где происходит что-нибудь занятное, и воображаешь, будто эти развлечения тебя и притягивают. Потом я стал замечать редкие, почти архаичные выражения, которыми он с удовольствием пользовался подчас, когда его стиль слегка приподнимали тайные токи гармонии, неявные пробы голоса; и, когда он упоминал «тщетное обольщение жизни»<sup>98</sup>, «неверных призраков бес-

---

<sup>98</sup> ...«тщетное обольщение жизни»... – Измененная цитата фразы Анатоля Франса: «Да, друг мой, но эти обольщения и тысячи других, радостных и трагич-

сменное круженье»<sup>99</sup>, «бесплодную и восхитительную муку понимания и любви»<sup>100</sup>, «трогательные изображения, навеки облагородившие чтимые и завораживающие фасады соборов»<sup>101</sup>, целая философия, совершенно для меня новая, открывалась для меня в этих удивительных образах, словно они-то и будили пение арф, которые тут же вступали, аккомпанируя высокой красоте самих образов. Одно такое место у Берготта, третье или четвертое из тех, что я заметил в книге, принесло мне радость, несравнимую с той, какую доставило мне первое; я чувствовал, что эта радость родилась в более глубоких недрах моего «я», в краю более спокойном, просторном, где словно сметены все препятствия и преграды. Как будто, признав тот самый вкус к редким выражениям, то самое музыкальное откровение, тот самый идеализм, который уже несколько раз, незаметно для меня, оказывал-

---

ных, сводятся к одному и тому же: оболыщению жизни» («Преступление Сильвестра Боннара»).

<sup>99</sup> ... «*неверных призраков бессменное круженье*»... – Парафраз последней строки стихотворения Леконта де Лиля «Майя» (сб. «Трагические стихотворения», 1884). Ср. у Леконта де Лиля: ...*du tourbillon sans fin des apparences vaines*. В переводе И. Поступальского: ...текущих призраков бессменное круженье!

<sup>100</sup> ... «*бесплодную и восхитительную муку понимания и любви*»... – Измененная цитата фразы Анатоля Франса: «Восхитительные муки, которые красота составляет душам, жаждущим ее понять» («Книга моего друга»).

<sup>101</sup> ... «*трогательные изображения, навеки облагородившие чтимые и завораживающие фасады соборов*»... – Измененная цитата фразы Анатоля Франса: «Он готов был даже пожертвовать своими чтимыми и завораживающими творениями и, как с собором Парижской Богоматери, преобразить живой собор в собор абстрактный» («Пьер Нозьер»).

ся причиной моей радости, я уже не сознавал, что передо мной – такая-то страница такой-то книги Берготта, оставляющая одномерное изображение на поверхности моей мысли, а скорее мне казалось, что передо мной «идеальный отрывок» из Берготта, общий для всех его книг, и все аналогичные отрывки, которые можно было бы спутать с этим, придавали ему своего рода плотность, объем, от которых вырастали мои умственные силы.

В своем восхищении Берготтом я был не совсем одинок; он был любимым писателем одной очень образованной маминой подруги, а доктор дю Бульбон дочитывал его последнюю книгу, забыв о ожидавшихся больных; именно из его кабинета да из парка, прилегавшего к Комбре, разлетелись первые семена восхищения Берготтом, растения тогда еще редкостного, а сегодня распространенного повсеместно, так что выросший из этих семян цветок, идеальный и примелькавшийся, вы найдете где угодно – в Европе и в Америке, даже в малой деревушке. Мамина подруга и, видимо, доктор дю Бульбон больше всего, как и я, любили в книгах Берготта тот же музыкальный поток, те старинные обороты речи и другие, очень простые и всем известные, которые он умел так кстати вставить и подчеркнуть, что становилось понятно, как они ему дороги; а в печальных местах – некоторую резкость, легкую хрипотцу в голосе. И наверное, он сам чувствовал, что в этом кроется его главное очарование. Ведь и в позднейших своих книгах, едва доходило до какой-нибудь



великой истины или до имени знаменитого собора, он прерывал свой рассказ и взывал к читателю, обращался к нему с пространными мольбами и давал волю тем токам, которые в более ранних книгах оставались внутри его прозы, так что догадаться о них можно было только по ряби на поверхности, и, может быть, они были еще нежнее, еще гармоничнее прежде, пока эти токи таились в глубине и невозможно было указать точно, где рождался, где замирал их ропот. Эти отступления, которые он так любил, нравились нам больше всего. Я их знал наизусть. Когда он подхватывал нить повествования, я бывал разочарован. Заводя речь о предмете, красоты которого я до сих пор не замечал, о сосновых лесах, о буре, о соборе Парижской Богоматери, о «Гофоллии» или «Федре»<sup>102</sup>, он всякий раз создавал образ, в котором красота эта неожиданно озаряла меня. И, чувствуя, что вселенная состоит из множества частиц, которые остались бы недоступны моему убогому восприятию, если бы он их ко мне не приблизил, – я жаждал, чтобы он высказал мнение, придумал метафору обо всем на свете, особенно о том, что мне и самому удастся повидать, а больше всего – о памятниках французской старины и некоторых морских пейзажах, потому что в своих книгах он настойчиво возвращался к ним опять и опять, то есть, очевидно, прозревал в них огромный смысл и красоту. К сожалению, я почти ни о чем не знал его мнения. Я был уверен, что оно совершенно отличается от моего

---

<sup>102</sup> ...о «Гофоллии» или «Федре»... – «Федра» и «Гофоллия» – трагедии Расина.

собственного, потому что снисходит ко мне из неведомого мира, до которого я жаждал возвыситься; я был настолько убежден, что мои мысли показались бы этому светочу разума полной нелепостью, что вообще от них отказался, и, когда я случайно находил в какой-нибудь из его книг то, о чем я и сам уже думал, сердце мое разрывалось на части, словно сам Господь Бог в своей милости даровал мне эту мысль, признал ее справедливость и красоту. Иногда страница Берготта говорила о том же, о чем я часто писал по ночам маме и бабушке, когда мне не спалось; такая страница была словно собрание эпитафий к моим письмам. И даже потом, когда я начал сочинять книгу, к некоторым своим фразам, вызывавшим у меня сомнение, достаточно ли они хороши и стоит ли продолжать, я находил параллели у Берготта. Но нравились они мне, только когда я вычитывал их у Берготта; а когда сочинял сам, стараясь в точности отразить то, как я понимал собственную мысль, и опасаясь, что «получится непохоже», я только и делал, что гадал, могут ли они понравиться! Но в сущности, только такие фразы, только такие идеи я и любил. Мои беспокойные усилия, полные недовольства собой, сами были знаком этой, может быть, безрадостной, но зато глубокой любви. Кроме того, когда в чужом сочинении я неожиданно находил нечто похожее, а значит, можно было больше не придирается к себе, не терзаться угрызениями совести, тут-то я с восторгом разрешал себе наслаждаться этими своими фразами, как повар, который в кои-то веки свободен от

стряпни и может себе позволить немного гурманства. Однажды в книге Берготта, в том месте, где он говорил о старой служанке, я наткнулся на шутку, которая на роскошном торжественном языке писателя звучала еще ироничнее, чем у меня, и все же это была та самая шутка, которую я часто повторял бабушке, говоря о Франсуазе; а в другой раз обнаружил, что в одном из своих сочинений, этих зеркал истины, он не погнушался замечанием, аналогичным тому, которое я высказывал по поводу нашего друга Леграндена (эти замечания о Франсуазе и Леграндене я, пока не набрел на такие же у своего любимого автора, готов был вымарать во имя Берготта, уверенный, что он бы счел их безынтересными), и вдруг мне почудилось, что моя смиренная жизнь и царство истины не так далеки друг от друга, как я думал, что в некоторых точках они даже совпадают, и в порыве счастья и веры в себя я заплакал над его страницами, как в объятиях вновь обретенного отца.

По книгам я представлял себе Берготта немощным, разочарованным старцем, который потерял детей и так и не смог утешиться. И вот я читал, я беззвучно выпевал его прозу, возможно, более *dolce*, более *lento*<sup>103</sup>, чем она была написана, и простейшая фраза, обращаясь ко мне, звучала нежнее. Больше всего я любил его философию, я навсегда подпал под ее власть. Из-за нее я с нетерпением ждал возраста, когда поступлю в коллеж, в так называемый философский класс. Но

---

<sup>103</sup> *Dolce, lento* – нежно, медленно (*um.*).

мне хотелось, чтобы там ничего другого не делали, а жили исключительно размышлениями о Берготте, и, если бы мне сказали, что метафизики, которыми я к тому времени увлекусь, ни в чем не будут на него похожи, меня бы охватило отчаяние, как влюбленного, который хочет любить вечно, а ему толкуют о других любовницах, которые будут у него потом.

Однажды в воскресенье, когда я читал в саду, меня отвлек Сванн, который пришел к родителям.

– Что вы читаете, можно взглянуть? О-о, Бергготт? Кто же вам посоветовал эти книги?

Я сказал, что Блок.

– Ах да, тот самый мальчик, я его как-то у вас видел, он так похож на портрет Мехмеда Второго у Беллини<sup>104</sup>. Поразительно: те же изогнутые брови, тот же нос с горбинкой, те же выступающие скулы. Когда он отрастит бородку, это будет то же лицо. Во всяком случае, у него есть вкус: Бергготт – сплошное очарование. – И, видя, как я восхищаюсь Бергготтом, Сванн, никогда не говоривший о людях, с которыми был знаком, по доброте душевной сделал для меня исключение и сказал: – Я хорошо его знаю, и если вам будет приятно, чтобы он написал несколько слов на вашей книжке, я могу его об этом попросить.

---

<sup>104</sup> ...портрет Мехмеда Второго у Беллини. – Джентиле Беллини (1429–1507) – венецианский художник; во время пребывания в Стамбуле написал портрет Мехмеда II (1432–1481), седьмого султана Османской империи.

Я не посмел принять это предложение, но стал расспрашивать Сванна о Берготте:

– Не могли бы вы мне сказать, какой его любимый актер?

– Какой актер, не знаю. Но знаю, что, по его мнению, ни один актер-мужчина не сравнится с Берма, которую он ставит выше всех. Вы ее видели?

– Нет, родители меня не пускают в театр.

– Очень жаль. Попросите их хорошенько. Берма в «Федре», в «Сиде»<sup>105</sup> – это, конечно, всего лишь актриса, но, знаете, я не очень-то верю в «иеррррархию» искусств, – (и я отметил про себя, как часто меня поражало в его разговорах с бабушкиными сестрами, что, когда он рассуждает о серьезных вещах и употребляет выражение, которое, казалось, подразумевает мнение на важную тему, он тщательно выделяет его особой интонацией, машинальной и насмешливой, словно в кавычки берет, как будто не желая, чтобы оно исходило от него, и говоря: «Иерархия, знаете, – словечко, которое любят зануды?») Но если это занудство, зачем он сам говорит «иерархия»? Мгновение спустя он добавил: – Вас ждет возвышенное зрелище, не хуже какого угодно шедевра, ну, не знаю... не хуже, чем, – и он рассмеялся, – чем «Шартрские королевы»!<sup>106</sup> – Его нелюбовь серьезно выска-

---

<sup>105</sup> Берма в «Федре», в «Сиде»... – Имеются в виду пьеса Корнеля «Сид», а также «Федра» Расина, об исполнении главной роли в которой актрисой Берма будет идти речь в следующих книгах романа.

<sup>106</sup> ...«Шартрские королевы»! – Имеются в виду статуи в западном портале Шартрского собора, которые долго принимали за изображения королей и коро-

зывать свое мнение всегда казалась мне чертой элегантно-сти и столичности, она словно противопоставлялась заход-луственному догматизму бабушкиных сестер; кроме того, я по-дозревал, что в кружке Сванна, в противовес восторженно-сти предыдущих поколений, восстановлены в правах, и да-же чрезмерно, точные мелкие факты, прежде считавшиеся вульгарными, а «фразы» объявлены вне закона. Но теперь мне почудилось что-то оскорбительное в этой особенности поведения Сванна. Он словно ни о чем не смел судить и чув-ствовал себя уверенно, только если мог добросовестно изло-жить точные сведения. Ну как же он не понимает, что при-писывать такое значение точной детали – все равно значит излагать свою точку зрения. В мыслях я вернулся к тому обе-ду, когда мне было так грустно, потому что мама не собира-лась подниматься ко мне в спальню: Сванн тогда сказал, что балы у принцессы Леонской – события совершенно незна-чительные. Но ведь он в подобных развлечениях и проводит жизнь. Все это показалось мне противоречивым. Для какой другой жизни приберегает он возможность высказать нако-нец серьезно, что он думает о том и об этом, изложить такие мнения, которые можно не брать в кавычки, и покончить с занятиями, которые сам же он, предаваясь им с педантичной любезностью, считает смехотворными? А кроме того, когда

---

лев Франции, хотя на самом деле это изображения библейских персонажей. Рас-суждения Рёскина об этих статуях Пруст подробно цитирует и комментирует в своем предисловии к переводу «Амьенской библии» (*Пруст М. Памяти убитых переквей. М.: Согласие, 1999. С. 46 и далее*).

Сwann говорил со мной о Берготте, я подметил в нем что-то такое, что не было ему свойственно, а, наоборот, роднило между собой в то время всех поклонников писателя, мамину подругу, доктора дю Бульбона. Как Swann, они говорили о Берготте: «Сплошное очарование, он такой необыкновенный, у него своя особая манера, слегка надуманная, но такая приятная! Не надо и смотреть на имя автора, его ни с кем не спутаешь». Но никто не осмелился бы сказать: «Это великий писатель, у него большой талант». Они вообще не говорили о его таланте. Не говорили, потому что не знали. У нас уходит очень много времени на то, чтобы распознать в непривычном лице нового писателя тот образец, который в нашем музее общих понятий носит имя «большой талант». Именно из-за того, что лицо это такое новое, нам кажется, будто оно недостаточно похоже на то, что мы зовем талантом. Мы скажем скорее – оригинальность, очарование, изысканность, сила; а потом в один прекрасный день мы вдруг понимаем, что все это вместе и есть талант.

– А нет ли у Берготта книг, в которых бы говорилось о Берма? – спросил я Swanna.

– По-моему, что-то есть в брошюрке о Расине<sup>107</sup>, но она, вероятно, распродана. Хотя, может быть, ее переиздали. Я

---

<sup>107</sup> ...в брошюрке о Расине... – Брошюре Берготта о Расине могли соответствовать реально существующие тексты: во-первых, брошюра Анатоля Франса, опубликованная в 1874 г., в которой он воспроизвел свое предисловие к сочинениям Расина, а во-вторых, сборник статей критика и писателя Жюль Леметра «Театральные впечатления» (1895).

узнаю. Между прочим, я могу спросить у Берготта все, что вам угодно: недели не проходит, чтобы он у нас не обедал. Они большие друзья с моей дочкой. Вместе осматривают старинные города, соборы, замки.

Я не имел никакого понятия о социальной иерархии, и то, что мой отец считал невозможным встречаться с женой и дочерью Сванна, давно уже заставляло меня воображать, что нас с ними разделяет огромная дистанция, и придавало им в моих глазах дополнительное обаяние. Я жалел, что моя мама не красит волосы и не пользуется губной помадой, как г-жа Сванн, которая, как знал я со слов нашей соседки г-жи Сазра, делала это, чтобы нравиться, причем не мужу, а г-ну де Шарлюсу, и думал, что она нас, наверное, презирует, и это было мне очень обидно, особенно из-за мадмуазель Сванн: я слышал, что она очень хорошенькая, и часто мечтал о ней, всякий раз по собственному произволу наделяя ее одним и тем же прелестным личиком. Но в тот день, когда я узнал, что мадмуазель Сванн, принадлежа к избранникам природы, купается в ее неслыханных дарах, словно в родной стихии, и, к примеру, спрашивая родителей, будут ли сегодня гости к обеду, слышит в ответ два светозарных слога, имя золотого сотрапезника, хотя для нее это всего лишь старый друг семьи, Берготт; что если для меня непринужденная застольная беседа – это разглагольствования моей двоюродной бабушки, то в ее мире – это сужденья Берготта обо всех на свете предметах, не попавших в его книги, тех самых, о которых



мне бы хотелось услышать его пророчества; и наконец, что, когда она осматривает города, рядом с нею шагает он, окруженный незримым ореолом своей славы, подобный богам, снисходившим с небес к смертным людям, — тут-то до меня и дошло, как неслыханно взыскана судьбой мадмуазель Сванн и в то же время каким грубияном и невеждой я бы ей показался, и я так остро осознал все блаженство и всю невозможность быть ее другом, что преисполнился одновременно желания и отчаяния. Теперь, думая о ней, я чаще всего представлял, как она перед порталом собора толкует мне значение статуй и с улыбкой, в которой сквозит одобрение, знакомит меня, своего друга, с Берготтом. И очарование мыслей, которые рождали во мне соборы, очарование холмов Иль-де-Франса и равнин Нормандии все время наплывали, словно блики, на тот образ мадмуазель Сванн, который я себе воображал: это было существо, идеально достойное любви. Вера в то, что другое существо участвует в некой неведомой нам жизни, куда и мы можем проникнуть благодаря его любви, — вот главное условие рождения любви, вот то, чем она больше всего дорожит и чем обесценивается все остальное. Даже тем женщинам, которые утверждают, будто ценят в мужчине только внешность, видится в этой внешности излучение какой-то особенной жизни. Вот почему они любят военных или пожарных; из-за мундира они не столь придирчивы к лицу: им кажется, что сердце, которое они ласкают под доспехом, — не такое, как все, а удалое и нежное; и когда юный

монарх, наследный принц, путешествует в чужих краях, для побед над самыми стойкими сердцами ему не нужен чеканный профиль, без которого было бы, пожалуй, не обойтись биржевому маклеру.

Пока я читал в саду, – моя двоюродная бабушка мысли не допускала, что этим можно заниматься в иные дни, кроме воскресенья, когда серьезные дела под запретом: например, сама она не занималась шитьем (в будний день она бы мне заметила: «С чего это ты развлекаешься чтением, сегодня все-таки не воскресенье», придавая слову «развлекаться» оттенок ребячества и пустой траты времени), – тетя Леони, поджидая Элали, беседовала с Франсуазой. Она ей рассказывала, что сию минуту видела госпожу Гупиль «без зонтика, в том шелковом платье, которое она заказывала в Шатодёне. Если она собралась далеко и не вернется до вечерни, измокнет ее платье насквозь».

– Все может быть, все может быть (что означало – а может быть, и не измокнет), – отвечала Франсуаза, не желая напрочь отвергать возможность более благоприятного исхода.

– Погодите-ка! – восклицала тетя, хлопая себя по лбу. – Мне пришло в голову: я ведь так и не знаю, опоздала она в церковь к возношению даров или не опоздала. Авось не забуду спросить у Элали... Франсуаза, вы только гляньте, какая черная туча над колокольней и как шифер сверкает на солнце, прямо глазам больно: ясное дело, день без дождя не

кончится. Иначе просто и быть не может, слишком сегодня жарко. И чем скорее польет, тем лучше: все равно, пока гроза не начнется, «Виши» не пройдет, – добавила тетя, подразумевая, что желание ускорить прохождение воды через ее организм несравненно важнее для нее, чем сохранность платья г-жи Гупиль.

– Все может быть, все может быть.

– И ведь на площади в дождь не особенно и укроешься. Как, уже три часа? – внезапно ахала тетя, бледнея. – Значит, вечерня уже началась, а про пепсин-то я забыла! Теперь понятно, почему «Виши» не действует.

И, схватившись за переплетенный в фиолетовый бархат и оправленный в золото молитвенник, в спешке роняя из него отделанные пожелтевшей кружевной бумажной каемкой картинки, которыми были заложены праздничные дни, тетя глотала капли и поспешно принималась читать священные тексты, понимать которые ей слегка мешало беспокойство о том, успеет ли пепсин, принятый с таким опозданием, догнать минеральную воду и вывести ее вон. «Три часа, прямо не верится, как время бежит!»

Тихий стук в стекло, словно что-то ударилось в него, а потом легонько просыпалось, словно из верхнего окна бросают песок, и песчинок все больше, в их стуке появляются стройность и размеренность, он становится плавным, звучным, мелодичным, всеобъемлющим: пошел дождь.

– Ну, Франсуаза, что я говорила? Как полило! И мне по-

слышалось, будто колокольчик на садовой калитке звякнул, сходите туда, гляньте, кому не сидится дома в такую погоду.

Франсуаза возвращалась:

– Это госпожа Амеде (моя бабушка), она сказала, что немного пройдет. Хотя дождь так и льет.

– Меня это не удивляет, – замечала тетя, возводя глаза к небу. – Я всегда говорила, что она без царя в голове. Вот уж не хотелось бы мне сейчас вместо нее под дождь.

– Госпожа Амеде у нас особенная, – кротко отзывалась Франсуаза, приберегая до случая, когда будет разговаривать с другими слугами, соображение, что у моей бабушки «не все дома».

– Уже и Святые Дары выносили! Не придет Элали, – вздыхала тетя. – Побоится, в непогоду-то.

– Да ведь еще нет пяти часов, госпожа Октав, еще только полпятого.

– Полпятого? А мне уже пришлось поднять занавески, а то тьма-тьмущая. И это в полпятого! Перед самым Вознесеньем, за неделю до молебнов!<sup>108</sup> Ах, Франсуаза, милочка, видно, Бог и впрямь на нас прогневался. И то сказать, люди в наше время чересчур распустились. Как говорил мой бедный Октав, Бога забыли, вот он кары на нас и посылает.

Жаркий румянец заливал тетины щеки: являлась Элали.

---

<sup>108</sup> *Перед самым Вознесеньем, за неделю до молебнов!* – В католической традиции Вознесению предшествует трехдневный молебен об урожае с шествием, по-французски – Rogations.

К сожалению, не успевала она войти, как Франсуаза возвращалась в комнату с улыбкой, соответствующей, по ее разумению, той радости, которую неминуемо вызовут у тети ее слова; она отчеканивала каждый слог, чтобы показать, что вот она, пускай косвенной речью, передает, как положено хорошей прислуге, те самые слова, которыми соблаговолил воспользоваться посетитель:

— Господин кюре почтет за честь и удовольствие повидать госпожу Октав, если она не отдыхает, конечно. Господин кюре не хотел бы оказаться в тягость. Господин кюре внизу, я его в залу света.

На самом деле визиты кюре не так уж радовали тетю, как представлялось Франсуазе, и ликование, которым всякий раз с готовностью расцветало ее лицо, когда она докладывала о кюре, не вполне соответствовало чувствам больной. Кюре (превосходный человек — жаль, что мне не так уж много привелось с ним беседовать, потому что, ничего не смысля в искусстве, он знал зато множество этимологических толкований<sup>109</sup>) привык сообщать видным посетителям сведения о комбрейской церкви (он даже намеревался написать книгу

---

<sup>109</sup> ...множество этимологических толкований... — В конце XIX в. во Франции была в большой моде этимология — наука о происхождении и эволюции слов, и в частности ономастика, изучающая с этой точки зрения имена собственные — географические названия (топонимия) и личные имена (антропонимия). Топонимия, новая дисциплина, связанная с исторической географией, занимает больше всего места в романе. Подчас этимологические изыскания принимали несколько карикатурные формы, чем и вызвано ироническое, на грани пародии, освещение этой темы у Пруста.

о приходе Комбре) и своими длинными, до бесконечности повторявшимися объяснениями утомлял тетю. А уж когда он приходил одновременно с Элали, его посещение оказывалось ей и вовсе некстати. Ей больше хотелось насладиться обществом Элали, а не принимать всех гостей разом. Но она не смела отказать кюре и только намекала Элали, чтобы та задержалась после кюре и посидела еще.

– Господин кюре, а что это говорят, у вас в церкви какой-то художник установил мольберт и пишет копию витража. Я вон уже до каких лет дожила, можно сказать, а такого не слыхивала. И чего только люди не выдумают в наши дни! Да витражи – самое безобразное, что есть в нашей церкви.

– Я не сказал бы, что самое безобразное – это витражи: в Святом Иларии, конечно, есть на что посмотреть, но много и такого, что вконец обветшало, ведь мою несчастную базилику одну на всю епархию ни разу не реставрировали! Бог ты мой, ну ладно паперть грязная и ветхая, смотрится она, что ни говори, величественно; шпалеры с Есфирью тоже держатся, я лично за них и двух су не дам, но знатоки считают, что они уступают только санским<sup>110</sup>. Пожалуй, и впрямь, не считая некоторых чересчур реалистичных деталей, автору не откажешь в наблюдательности. Но о витражах я и слушать не хочу. Какой толк в таких окошках, через которые и свет-то не проходит, и хуже того, они бросают отблески непонятно

---

<sup>110</sup> ...шпалеры с Есфирью... уступают только санским. – Имеются в виду шпалеры XV и XVI вв., которые хранятся в сокровищнице собора Св. Этьена в Сансе.

какого цвета, которые слепят глаза, и это в нашей-то церкви, где буквально все плиты положены на разном уровне, причем мне их отказываются заменить, потому что, видите ли, это все надгробья аббатов Комбре и сеньоров Германтских, древних графов Брабантских! Прямых предков нынешнего герцога Германта, да и герцогини тоже, – она ведь урожденная Германт и замуж вышла за своего кузена. (Моя бабушка, которая настолько не интересовалась важными персонами, что вечно путала их имена, всякий раз, как при ней называли герцогиню Германтскую, утверждала, что, кажется, она в каком-то родстве с г-жой де Вильпаризи. Все покатывались со смеху; бабушка пыталась обороняться, ссылаясь на письмо, сообщавшее о каком-то семейном событии: «Сдается мне, что там упоминались Германты». И в этом единственном случае я объединялся с другими против нее, не в силах поверить, что между ее подругой по пансиону и отпрыском Женевьевы Брабантской может быть какая-то связь.)). Возьмите Руссенвиль – сегодня это крестьянский приход, а ведь в древние времена городок процветал благодаря производству фетровых шляп и стенных часов. Кстати, относительно этимологии Руссенвиля у меня есть сомнения. Можно предположить, что первоначальное название его было Рувиль (Radulfi villa), как Шатору (Castrum Radulfi), но об этом как-нибудь в другой раз. Ну так вот. В тамошней церкви великолепные витражи, почти все современные, да хоть этот впечатляющий «Въезд Луи Филиппа в Комбре», ему бы са-

мое место было в Комбре – он, говорят, не уступает витражам Шартра<sup>111</sup>. Я как раз вчера виделся с братом доктора Перспье; он ценитель подобных вещей, так вот он считает, что тот витраж превосходной работы. Я и говорю этому художнику, весьма, кстати, любезному, и кистью он, похоже, владеет блестяще: «Да что такого необычного вы нашли в этом витраже, который даже темнее прочих?»

– Я уверена, что если вы попросите у его высокопреосвященства новый витраж, – вяло отзывалась тетя, подумывая о том, что все это начинает ее утомлять, – он вам не откажет.

– Как бы не так, госпожа Октав, – отвечал кюре. – Ведь именно его высокопреосвященство первый привлек всеобщее внимание к этому злополучному витражу и доказал, что там изображен Жильберт Злой<sup>112</sup>, сир де Германт, прямой потомок Женевьевы Брабантской, также происходившей из Германтов, которому святой Иларий дарует отпущение грехов.

– Не понимаю, где там святой Иларий?

– Ну как же, разве вы не замечали в углу витража даму в желтом платье? Так вот, это и есть святой Иларий, которого, как вы знаете, в некоторых провинциях зовут святым

---

<sup>111</sup> ...«Въезд Луи Филиппа в Комбре»... не уступает витражам Шартра. – Витраж, о котором идет речь, очевидно, датируется XIX в. (Луи Филипп стал королем в 1830 г.). Естественно, такой витраж не представлял собой великой ценности, в отличие от знаменитых витражей Шартрского собора.

<sup>112</sup> Жильберт Злой – исторический персонаж, выдуманный Прустом.



Илье, святым Элье, а в Юре даже святым Илией<sup>113</sup>. Кстати, все эти искажения имени sanctus Hilarius, в сущности, отнюдь не самые забавные из превращений, которые претерпели имена праведников. Вот ваша покровительница, дорогая Элали, sancta Eulalia, – знаете, во что она превратилась в Бургундии? Просто-напросто в святого Элигия: святая превратилась в святого<sup>114</sup>. Представляете себе, Элали, чтобы вас после смерти сделали мужчиной?

– Господин кюре все шутит.

– Брат Жильберта, Карл Заика, государь благочестивый, но рано потерявший отца, Пипина Безумного<sup>115</sup>, скончавше-

---

<sup>113</sup> ...это и есть святой Иларий... даже святым Илией. – Пруст почерпнул многие сведения для монолога кюре в книге Жюль Кишра «Об образовании старинных географических названий во французском языке» (1867). Среди различных вариантов одного и того же имени автор приводит: «Sanctus Hilarius, святой Иларий, святой Илер, святой Элье, святой Илье», а среди «современных названий, подвергшихся искажениям»: «Сент-Илье (Сена-и-Уаза) и Сент-Или (Юра), от святого Илария».

<sup>114</sup> ...святая превратилась в святого. – В той же книге Жюль Кишра выделяет категорию «Имена, род которых изменился»: «Есть примеры, когда святая превращалась в святого и наоборот, согласно изменениям, которые данное имя претерпело во французском языке: „...sancta Eulalia [т. е. св. Евлалия] – святой Элуа [т. е. св. Элигий]“».

<sup>115</sup> Брат Жильберта... Пипина Безумного... – Прообразом Жильберта Злого послужил Прусту Жоффруа де Шатодён, историческое лицо, описанное аббатом Марки, кюре города Илье: «Жоффруа, виконт де Шатодён, рано лишился отца и властвовал над страной со всей самонадеянностью молодости, не приученной к дисциплине» (Марки Ж. Илье, 1904. С. 28). Конец Жоффруа де Шатодёна, построившего в 1019 г. замок Илье, также послужил материалом для жизнеописания Жильберта Злого: «Жоффруа посетил Шартрский собор в 1040 г., убежден-

госю от последствий душевной болезни, властвовал над страшной со всей самонадеянностью молодости, не приученной к дисциплине, так что, если в каком-нибудь городе ему не нравился отдельный человек, он мог истребить весь город до последнего жителя. Жильберт, желая отомстить Карлу, приказал сжечь комбрейскую церковь, самую первую, ту, которую обещал выстроить на месте могилы святого Илария Теоде-

---

ный, что разрушения и пожары, которые он некогда вершил в этом краю, преда- ны забвению. К несчастью, его имя по-прежнему оставалось ненавистно местному населению. Когда он выходил после богослужения, жители Шартра набросились на него и убили». Возможно, другим его прототипом оказался Карл Злой, король Наварры и граф д'Эврё (1332–1387). Пипин Безумный, также вымышленный персонаж, добавленный во второй корректуре, напоминает о Каролингах. Имя еще одного вымышленного короля, Карла Заики, напоминает сразу о двух каролингских государях, Людовике Заике и Карле Простоватом. В монологе кюре можно найти имена великих вассалов, восстававших против Карла Простоватого: это Рауль, или Радульф Бургундский (по словам кюре, от его имени произошло название Руссенвиль), Вильгельм Нормандский (не Завоеватель, а герцог Вильгельм I, по прозвищу Длинный Меч, 930–942). Речь кюре отсылает если не к строгим фактам, то, во всяком случае, к определенному пласту истории: после Женеьевы Брабантской, принадлежавшей к Меровингам, Жильберт Злой – вторая веха в истории Германтов, связанная с Каролингами, то есть со второй франкской династией. Другой Германт – брат капетингского короля Людовика VI, что добавляет Германтам связей с королевскими династиями (Капетинги были последней из трех королевских династий, правивших во Франции и сошедшей со сцены только в 1848 г.). Имена, названные Прустом, не позволяют восстановить реальную историю, но точно указывают на выбранный период и предупреждают о наличии пастиша. Это, конечно, мистификация, но главная ее цель все же эстетическая – изобразить язык старинных хронистов, отмеченный простодушной эрудицией. В этом направлении строится образ кюре. Его роль неотделима от роли Элали, создательницы устной летописи Комбре.

берт<sup>116</sup>, если праведник поможет ему одержать победу; было это, когда он, отправляясь на войну с бургундами, покидал в окружении придворных свой загородный дом неподалеку отсюда, в Тиберзи (Theodeberciacus). От той церкви уцелела только крипта, куда вас, должно быть, водил Теодор, а остальное Жильберт сжег. Затем он разбил незадачливого Карла с помощью Вильгельма Завоевателя<sup>117</sup>, – (кюре произносил на старинный лад «Вилельма»), – поэтому к нам сюда приезжает много англичан. Но кажется, он так и не снискал симпатии жителей Комбре, потому что они накинулись на него после богослужения и отрубили ему голову. Кстати, у Теодора можно взять почитать книжку, в которой все это объясняется.

Но бесспорно, любопытнее всего в нашей церкви вид, который открывается с колокольни, – великолепный вид. Вам, конечно, при вашей хрупкости, я бы не посоветовал карабкаться по нашим девяносто семи ступеням, что составляет ровно половину знаменитого Миланского собора. Тут и здоровяк устанет, тем более что идти приходится, согнувшись в

---

<sup>116</sup> ...*Теодеберт*... – Этим именем звали двух франкских королей, Теодеберта I (504–548) и Теодеберта II (586–612). У Пруста явно подразумевается Теодеберт I, который славился щедростью по отношению к церквям, что согласуется с его ролью в тексте романа.

<sup>117</sup> *Вильгельм I, или Вильгельм Завоеватель* (1027–1087) – герцог Нормандский (1035–1087) и король Англии (1066–1087). Подростком Пруст с огромным интересом читал о нем в «Истории завоевания Англии норманнами» Огюстена Тьерри.

три погибели, чтобы не разбить себе голову, и попутно обираешь всю паутину с лестницы. Во всяком случае, вам бы надо было закутаться хорошенько, – продолжал он, не замечая, с каким негодованием встречена тетей идея, что она способна вскарабкаться на колокольню, – потому что, когда доберешься до верху, там такой ветрище! Некоторые утверждают, будто там веет смертельным холодом. И все равно по воскресеньям там всегда компании, которые иногда приезжают даже из очень дальних мест, восхищаются красотой панорамы и возвращаются очарованные. Да вот в ближайшее воскресенье, если погода продержится, наверняка будет народ по случаю молебнов. В общем, надо признать, что обзор оттуда открывается феерический, в таком, знаете, необычном ракурсе – так что все приобретает совершенно особый отпечаток. В ясную погоду видно до самого Вернейля. Главное, одновременно охватываешь взглядом то, что обычно можно увидеть только по отдельности, например течение Вивонны и укрепления Сент-Ассиз-де-Комбре, от которых ее заслоняет стена огромных деревьев, или, скажем, разные каналы Жуи-ле-Виконт (*Gaudiacus vice comitis*, как вы понимаете). Всякий раз, когда я ездил в Жуи-ле-Виконт, я видел один кусок канала, потом завернешь за угол – и виден другой кусок, но тогда уже не виден первый. Уж как я ни пытался их мысленно совместить, особых результатов это не давало. А с колокольни Святого Илария другое дело: видно, что эти каналы – целая сеть, пронизывающая всю округу. Только воду

не разглядеть, просто что-то наподобие огромных щелей, которые так точно делят городок на четверти, ну прямо круглая булка, еще целая, но уже разрезанная. Но на самом-то деле, чтобы представить себе все как есть, хорошо бы одновременно быть и на колокольне Святого Илария, и в Жуиле-Виконт.

Кюре так утомлял тетю, что, как только он удалялся, ей приходилось спроваживать и Элали.

– Вот, Элали, милая, – говорила она слабым голосом, вытаскивая монету из маленького кошелька, который лежал у нее под рукой, – это чтобы вы не забывали меня в своих молитвах.

– Ах, госпожа Октав, даже и не знаю, брать или нет, вы же знаете, что я не за тем прихожу! – говорила Элали всякий раз так нерешительно и застенчиво, словно в первый раз, и всякий раз с напускным неудовольствием, которое смешило тетю, но было ей скорее приятно, потому что, если когда-нибудь Элали принимала монету с чуть меньшей досадой, чем обычно, тетя говорила:

– Не понимаю, что случилось с Элали: я ей дала то же, что и всегда, а она вроде была недовольна.

– Как бы то ни было, думаю, что жаловаться ей не на что, – вздыхала Франсуаза, которой было свойственно считать мелочью все, что перепадало от тети ей и ее детям, и сокровищами, безумно расточаемыми на неблагодарную особу, – монетки, которые каждое воскресенье переключивали в ла-

донь Элали, да так незаметно, что Франсуазе никогда не удалось их увидеть. Не то чтобы Франсуаза претендовала на деньги, которые тетя давала Элали. Тетино богатство и так давало ей огромные преимущества: она ведь знала, что богатство хозяйки заодно возвышает и украшает в глазах окружающих и ее служанку и что она, Франсуаза, пользуется почетом и уважением в Комбре, Жуи-ле-Виконт и прочих местах благодаря многочисленным тетиним фермам, частым и продолжительным визитам кюре, а также удивительному количеству выпиваемых тетей бутылок «Виши». Она скупилась только ради тети; если бы она управляла тетиним состоянием (что было ее мечтой), она бы обороняла его от вмешательства посторонних с материнской свирепостью. Впрочем, Франсуаза готова была смириться с тетиней неисправимой щедростью, с тем, что хозяйка не отказывала себе в удовольствии раздавать деньги, – но пусть бы, по крайней мере, благодетельствовала богатым. Возможно, Франсуаза полагала, что поскольку богачи не нуждаются в тетиних подарках, их нельзя заподозрить в том, что они лишь ради подарков ее любят. К тому же, если подношения делались людям, располагающим большими средствами, – г-же Сазра, г-ну Сванну, г-ну Леграндену, г-же Гупиль, людям «того же ранга», что моя тетя, «подходящим» людям, – она считала, что это входит в ритуал странной и блистательной жизни богачей, которые ездят на охоту, дают балы, обмениваются визитами, – тех, на кого она смотрит с восхищенной улыбкой. Но совсем

другое дело, если адресатами тетиних благодеяний оказывались, по выражению Франсуазы, «такие же люди, как я, ничем не лучше меня», – этих она сильнее всего презирала, если только они не называли ее «госпожа Франсуаза» и не считали себя «хуже ее». И когда она видела, что тетя, вопреки ее советам, поступает по-своему и тратит деньги – во всяком случае, Франсуаза в это верила – на недостойных людей, те дары, которые она сама получала от тети, представлялись ей ничтожными по сравнению с воображаемыми суммами, которые транжирились на Элали. Не было в окрестностях Комбре мало-мальски порядочной фермы, которую, как предполагала Франсуаза, Элали не могла бы купить на доходы от визитов к тете. Правда, Элали строила такие же предположения насчет несметных тайных богатств Франсуазы. Обычно после ухода Элали Франсуаза пускалась на ее счет в беспощадные прорицания. Она ее ненавидела, но боялась и почитала себя обязанной, когда Элали появлялась, обходиться с ней любезно. После ухода Элали она отыгрывалась, никогда, правда, не называя Элали по имени, зато изрекая дельфийские пророчества или сентенции общего характера, под стать Екклесиасту, но так, чтобы от тети не ускользнуло, в кого они метят. Глянув из-за краешка шторы, закрылась ли за Элали дверь, она приговаривала: «Втируши знают, как подлизаться, чтобы их звали и совали им подачки, но погодите, придет день и Господь на небе их всех покарает», – и метала взгляды искоса с многозначительностью какого-нибудь Иоаса, кото-

рый произносит, имея в виду исключительно Гофолию:



# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.